КОНЕЦ РУССКОГО ЦАРИЗМА

ВОСПОМИНАНИЯ
ГЕНЕРАЛА
П. Г. КУРЛОВА
БЫВШЕГО КОМАНДИРА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ.

Государственное Издательство
Москва-Петроград.

ГЭНИ
К 364

П. КУРЛОВ.

КОНЕЦ РУССКОГО ЦАРИЗМА

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО КОМАНДИРА КОРПУСА ЖАНДАРМОВ.

С ПРЕДИСЛОВИЕМ М. ПАВЛОВИЧА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1923 г. — ПЕТРОГРАД

Библиотека Института В. И. Ленина

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

П 1984

ГЭ1
К 964 Р

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. Р.К.П. (б.)
№ ~~5962~~ ~~1923~~ 67291

Подготовлено к печати и издано по заказу Государственного Издательства Книгоиздательством „Петроград".

Главлит № 4780. Тираж—15.000.

Военная типография Шт. Р.-К. К. А. (Площ. Урицкого, 10).

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Книга Курлова, опубликованная им в Германии на немецком языке, представляет ценный исторический документ. При чтении этих воспоминаний перед нами ярко встает фигура автора, одного из наиболее типичных и мрачных представителей старого режима, участвовавшего в подавлении крестьянских волнений в 1904—1905 и занимавшего виднейший пост в царской полиции. Генерал Курлов пользовался большим доверием царя и был даже назначен „генерал-губернатором Восточной Пруссии, чтобы навести там строгий порядок". Как известно, миссию эту Курлов не выполнил, правда, не по своей вине, а по вине Гинденбурга, который разбил русские войска, брошенные по приказу из Парижа в явно обреченное на неудачу наступление в районе Мазурских болот. Рисуя физиономию самого Курлова, „Воспоминания" бывшего начальника корпуса жандармов, вместе с тем, представляют интересный документ для изучения всей той среды, которая держала в эту эпоху в своих руках бразды правления над 150 миллионами населения.

Воспоминания охватывают весь период от 1904 г. до октябрьской революции. Это была, несомненно, тяжелая, нервная эпоха для деятелей старого режима, и неудивительно, что нервы бывшего начальника корпуса жандармов сильно расшатались за этот период и ему пришлось провести не одну бессонную ночь, волнуясь о перспективах будущего.

Период, описываемый Курловым, начался сильнейшими крестьянскими волнениями в Полтавской и Харьковской губерниях, которые перебросились, затем, в Курскую губернию и постепенно распространились во многих местностях России. К крестьянскому движению присоединилось и рабочее, которое приняло постепенно грандиозные размеры. Положение становилось особенно опасным благодаря проникновению „заразы" в армию. Курлов вспоминает восстания матросов в Свеаборге и Кронштадте, бунт матросов Черноморского флота, организованный Шмидтом, восстание в войсках в Полтаве, Киеве, Туркестане, отмечает, что выстрел из орудия конной артиллерии картечью, осыпавшей во время церемонии водосвятия на Неве

6 января 1905 г. помост, на котором находились царь и вся его семья, отнюдь не был результатом небрежности со стороны командира батареи и делом случая, как показало оффициальное расследование, а результатом революционного настроения чинов батареи (стр. 10). Курлов из своей практики подавления крестьянских волнений отмечает полную ненадежность многих воинских частей, в особенности из запасных, и рассказывает о капитане Григорьеве, назначенном со своим отрядом для защиты Терещенковского сахарного завода от нападения со стороны крестьян и приготовившем для себя последнюю пулю в случае, если его отряд откажется стрелять в крестьян. Насколько рост революционного движения в войсках беспокоил царское правительство, видно из разработанного Курловым проекта открыть вблизи казарм целый ряд небольших лавок, где сидельцами были бы агенты тайной полиции, чтобы через них быть в курсе настроения, существующего в войсках. При чтении этих мест в „Воспоминаниях" Курлова, даже слепому становится очевидно, что эпоха 1905—1906 года с ее могучим рабочим движением и московским декабрьским восстанием, с ее крестьянскими волнениями и бунтами в войсках—была лишь прологом к октябрьской революции, революции крестьян и рабочих, как на фабриках и полях, так и в армии. „Воспоминания" Курлова ясно показывают, что, начиная с 1904 года, правительство явно начинает сомневаться в поддержке войск и поэтому оно ищет единственного оплота для себя в организации черносотенных банд. Теперь мы видим, как, идя по стопам царизма, правящие классы Европы, по тем же мотивам недоверия к войскам, состоящим в главной массе из рабочих и крестьян, начинают возлагать все свои надежды на фашистские организации, которые несомненно также будут сметены историей, как русская история смела союзы русского народа, Михаила Архангела и иже с ними.

Курлов, несомненно, человек от природы очень неглупый, умевший предчувствовать события. Так, уже в начале января 1917 года, он, под влиянием сведений о распространении революционного настроения даже среди офицеров, которые открыто говорили о свержении царя, подал в отставку. Для него было ясно, что старый режим уже погиб, и он, как крыса с тонущего корабля, предпочел заблаговременно удалиться. Будучи арестован во время февральской революции и освобожден при октябрьской, Курлов прожил без всяких неприятностей и стеснений в своей квартире в Петрограде до августа 1918 г., но после убийства Володарского, опасаясь репрессий, бежал за границу. Рассказывая об этом эпизоде, Курлов меланхолично прибавляет: „16 августа я покинул Россию с тяжелым сердцем, понимая, что ста-

рая Россия никогда уже не воскреснет и что мне и семье моей не суждено уже вернуться когда-либо на родину". Эти заключительные строки „Воспоминаний" явно показывают, что Курлов не так слеп, как другие представители заграничной эмиграции, не понимающие, что на старом поставлен крест и в могилу прошлого навсегда вбит осиновый кол.

Однако, как администратор старого режима, как достойный ученик Дурново, который, при всей своей гениальной прозорливости [1]), давшей ему возможность предвидеть накануне мировой войны все дальнейшие события вплоть до „большевизма" (см. стр. 169), верил или делал вид, что верит, в спасительную силу административных и полицейских репрессий,—Курлов не мог понять исторического хода вещей, и потому он старается доказать, что еслибы „незабвенный" Столыпин не был убит, его воля и ум смогли бы предупредить крушение государственного корабля и он сумел бы предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Но, увы, „его (Столыпина) сменили на посту бесталанные и безвольные пигмеи, которые не знали даже, в какую сторону им повернуться". Полное непонимание роли масс, на революционном движении которых Курлов останавливается в своих „Воспоминаниях", ведет к тому, что бывший начальник корпуса жандармов приписывает слишком большую историческую роль при падении царизма таким личностям, как Родзянко, Гучков, игравшим-де „слишком роковую роль в деле разрушения России" (стр. 211). Курлов приписывает Гучкову чуть ли не авторство знаменитого приказа № 1, составленного Соколовым и Стекловым. Это уже слишком много чести для Гучкова.

Крайне интересны сведения, которые Курлов сообщает относительно системы политического розыска. В целях возможного сближения с революционными группами агентам сыска разрешались террористические акты против отдельных агентов и деятелей сыска и во главе списка таких лиц находилось имя самого Курлов, бывшего в тот момент вице-директором департамента полиции. Неудивительно, что при такой системе руководители сыска подвергали опасности не только тех лиц, которых они должны были охранять, но и свою собственную жизнь. Курлов сообщает нам о своем распоряжении, чтобы, „если в известных случаях необходимо присутствие сотрудника для предупреждения какого-нибудь революционного акта—жандармский офицер или руководитель сыска ни на одну минуту не оставлял его одного и не спускал с него глаз". Quis custodiet custodientem?—„Кто же будет стеречь стерегу-

[1]) „Записки Дурново" опубликованы в „Красной Нови" 1922 № 6 (10).

щего?" Вот что можно спросить относительно целесообразности этой предосторожности, которая не спасла ни Столыпина, ни начальника петербургской охраны Карпова, убитого Петровым, ни целый ряд других деятелей старого режима, убитых агентами-провокаторами.

Ген. Курлов старается в своих „Воспоминаниях" опровергнуть факт чрезмерного влияния Распутина на царя, царицу и всю царскую семью. Поскольку Курлов старается реабилитировать царицу от обвинений в интимных сношениях с Распутиным, мы на этом не будем останавливаться, так как эта сторона не представляет для нас никакого интереса. Но Курлов явно искажает истину, когда пытается опровергнуть факт исключительного влияния Распутина на назначение должностных лиц. Целый ряд документов и самые письма б. императрицы Александры Феодоровны к Николаю II, хранящиеся у нас в Госархиве, не оставляют на этот счет никаких сомнений и, наоборот, устанавливают, что почти ни одно высокое назначение за последний царский период русской истории не прошло без совместного влияния Распутина и Александры Федоровны.

Курлов своим положением был слишком обязан Николаю II, который действительно несколько раз защищал своего верного слугу даже от такого рода обвинений, как обвинение в государственной измене (ст. 265), в растрате казенных сумм и т. п.—и благодарный Курлов старается представить бывшего царя в „кристально-чистом свете" (190 стр.).

Генерал Курлов решительно выступает на защиту Сухомлинова и Мясоедова, привлеченных к суду по обвинению в государственной измене, и считает это обвинение сознательным вымыслом. Несомненно, что процесс Сухомлинова представляет глубокий интерес, и историкам эпохи падения царизма придется вскрыть тайные пружины этого знаменитого дела. Однако, изучение должно итти, конечно, не с той точки зрения, на какую ставит вопрос Курлов. По мнению последнего, все дело было затеяно Гучковым, Родзянко, Поливановым, раздуто кадетской партией в целях компрометации царской фамилии и достижения конституционных уступок. На самом деле суть заключалась не в этом. Вдохновителем процесса Сухомлинова было французское правительство и его представитель в России Морис Палеолог. Как мы уже подчеркивали в наших предшествующих работах (см. между прочим наше предисловие к книге Палеолога „Царская Россия во время мировой войны"), Сухомлинов был арестован и осужден не за свои подлости и изменнический образ действий по отношению к армии, оффициальным руководителем которой он был, а как раз наоборот, именно за то, что он не пошел так

далеко по пути предательства русской армии, как этого хотелось французскому командованию и агентам французского правительства в России, Гучкову, Родзянко, Керенскому и др., бросавшим русские армии в безумные наступления, не считаясь с обстановкой на русском театре военных действий и соображаясь лишь с обстановкой на французском: сегодня с необходимостью отстоять Париж, завтра—Верден и т. д. Роль русской армии в мировой войне, как слепого орудия в руках французского командования, как армии белого Сенегала, не оспаривается теперь даже многими генералами Антанты. Так, английский бригадный генерал Томсон, бывший британский военный представитель в Бухаресте, осуждает наступление Керенского, как безумное наступление, которое не могло не привести к катастрофе, и считает главным виновником всех неудач на восточном фронте союзников, которые эксплоатировали русские армии, не считаясь с условиями на русском театре войны (см. Thomson Ch., Brigadier general. Old Europe Suicide. London, 1920).

Но то, что стало впоследствии очевидно английскому генералу Томсону, сделалось с первых дней войны ясным многим нашим генералам и офицерам, которые видели, что русская армия по приказу из Парижа гибнет безнадежно и идет к верному разгрому, бросаясь в неподготовленные наступления только для того, чтобы оттянуть немецкую армию с французской территории и дать возможность французскому и английскому командованию увеличить свои силы. Как военный министр, Сухомлинов вынужден был считаться с настроением генералов и офицеров русской армии, и вот почему, несмотря на свой карьеризм и нежелание создавать против себя могущественных врагов, он все же позволял себе иногда, правда, очень несмело, выражать глухое недовольство позорной ролью, навязанной русской армии французским командованием. Этого французский посол в России Палеолог никогда не мог простить Сухомлинову. Сухомлиновский процесс и та унизительная роль, которую царизм, а затем кадеты и керенщина, навязали русской армии, об'ясняет, почему многие русские генералы и офицеры так легко примирились с советской властью и верой и правдой служат рабоче-крестьянскому правительству, которое, при всех своих неприятных с точки зрения этих полковников и генералов сторонах, имело то исключительное достоинство, что оно во всяком случае не было способно продать русскую армию иностранному командованию и являлось первым правительством, защищавшим полную самостоятельность России.

Курлов был решительным противником парламентаризма и Государственной Думы, разгону которой он вполне сочувствовал, но он полагал, что одновременно с разгоном Думы необходимо

опубликовать закон о наделении крестьян землею, „хотя бы для того пришлось пожертвовать некоторыми интересами имущих классов населения". Равным образом, он считал необходимым издание закона о равноправии всех национальностей, в том числе и евреев.

Вообще Курлов больше всего боялся крестьян и евреев и дает понять, что если бы оба эти элемента были удовлетворены, то на все остальное можно было бы наплевать и не считаться ни с какими „представительными собраниями".

Конечно, это profession fde oi не мешало Курлову сечь крестьян и давить евреев, как это он и делал в свою бытность минским, а затем курским губернатором, хотя он и утверждает, что он сам ни одного еврейского погрома не допустил.

Очевидно, для обоснования своего „либерального" взгляда на вопрос о равноправии евреев, Курлов приводит свою беседу с Витте, который сказал ему, между прочем, следующее: „Мы не можем утопить всех евреев в Черном море и, так как они составляют часть населения России и являются ее подданными, то все ограничения их, не имеющие никакого практического результата, прямо вредны" (стр. 47). Действительно, утопить всех евреев в Черном море было трудно, и невозможностью осуществления этой радикальной меры, очевидно, обусловливался либерализм Курлова и Витте в еврейском вопросе.

Конечно, трудно сказать, насколько теперешние взгляды Курлова на разрешение крестьянского и еврейского вопросов, на вопросы о нашей окраинной и национальной политике его эпохи, отрицательное отношение его к попыткам ассимиляции Финляндии и Польши—соответствуют действительным взглядам Курлова в прошлом. Да это и не важно. Мы уверены в том, что когда Индия, Ирландия, Египет освободятся от английского ига, какой-нибудь лорд Керзон в своих воспоминаниях также будет говорить, что он всегда был сторонником освобождения этих областей, а в подтверждение своих слов будет ссылаться на давно почивших государственных деятелей, подобно тому, как Курлов ссылается на свой оффициальный доклад, представленный им Трепову.

Как бы то ни было, книга Курлова, как исторический документ, несомненно представляет большой интерес. Что же касается горького сожаления Курлова по поводу того, что ему и его семье „не суждено уже вернуться когда-либо на родину", то, несомненно, что родина никогда не будет сожалеть о потере такого сына.

Мих. Павлович

ГЛАВА I.

В 1904 г. вспыхнула война с Японией — война, на которую большинство русских смотрело, как на военную прогулку в ожидании будущих легких побед. К сожалению, мы жестоко ошиблись в оценке врага, и результатом этого явился с самого начала ряд тяжелых поражений.

Можно было бы ожидать, что поражения эти сплотят воедино всех русских, без различия партий, для защиты своего отечества. Но наши оппозиционные и революционные партии имеют свою психологию: в военных неудачах они усматривают средство борьбы с правительством для достижения своих целей...

Начало японской войны сопровождалось крестьянскими волнениями в Полтавской и Харьковской губерниях и целым рядом поджогов, грабежей, всякого рода насилий и убийств. Однако, власти [1]) не растерялись и скоро справлялись с ними, хотя горючий материал этих движений продолжал тлеть среди крестьянства, и с ним Россия перешла в роковой 1905 год.

К крестьянскому движению присоединилось и рабочее, снова вспыхнувшее здесь и там под влиянием пропаганды. Благоприятной почвой для развития последней являлось стремление крупных промышленников получать от своих предприятий как

[1]) Например, харьковский губернатор, кн. И. М. Оболенский.

можно больше барышей, часть которых эти близорукие люди уделяли революционным организациям. Этим они, разумеется, сами подпиливали тот сук, на котором сидели. Лучшим примером может служить московский миллионер Савва Морозов, фабрики которого давали ему 80 процентов барыша. Он сделал, правда, очень много для улучшения положения своих рабочих, но все это не могло спасти его от гибели, предопределенной с того момента, как он принял участие в революционном движении. Уже в то время среди капиталистов Москвы обозначились фигуры многих, игравших роль впоследствии, в 1917 г., например, Гучковых, Рябушинских, Зензиновых и др.

Для царя и его семьи год этот начался тяжелым предзнаменованием. 6-го января, во время церемонии водосвятия на Неве, из одного из орудий конной артиллерии, расположенных около Биржи, был произведен выстрел картечью, осыпавшей помост, где находился царь и вся семья его. Расследование этого случая обнаружило небрежность со стороны командира батареи, и все дело было приписано случаю, хотя допустить „случайность" этого выстрела можно было только при наличии очень пылкого воображения. Было несомненно, что среди чинов батареи находились члены революционных партий, которые знали об этой небрежности и использовали ее для своих целей.

Вторым, еще более тяжелым предзнаменованием явилась демонстрация рабочих 9 января перед Зимним дворцом. Об этой демонстрации писали очень много. Она получила даже название „Зубатовской", потому что в происхождении ее и в том, что она приняла столь большие размеры, отчасти виновен де артамент полиции своим неудачным вмешательством в рабочее движение.

По моему мнению, здесь сказалась обычная несогласованность всей нашей правительственной системы и решающее влияние отдельных лиц, благодаря чему, при смене их и назначении новых,—все становится совершенно непохожим на то, что было прежде. Именно нечто подобное было и в данном случае. Начальник московской охранки С. В. Зубатов был убежденным поборником того взгляда, что правительство должно вмешиваться в рабочее движение, ибо он считал, что совместная работа с рабочими и поддержка их в экономических требованиях является лучшим способом держать все движение в своих руках. Благодаря его энергичным представлениям, на этот вопрос обратили внимание — московский генерал-губернатор, в. князь Сергей Александрович, и московский обер-полициймейстер генерал Д. Ф. Трепов, которые сделались не только защитниками созданных в Москве рабочих организаций, но влияли даже на министерство внутренних дел и на департамент полиции, добиваясь повторения этого опыта и в других городах. Высшим моментом зубатовского успеха явилась патриотическая демонстрация многих тысяч московских рабочих перед памятником Александра II в Москве 19 февраля, в день освобождения крестьян от крепостной зависимости. Было совершенно бесполезно указывать великому князю и генералу Трепову на опасность подобных экспериментов, как я сделал это однажды, когда в заседании у генерал-губернатора должен был заменить прокурора московской судебной палаты Посникова, в качестве его товарища. Слова мои вызвали даже неудовольствие вел. князя. Для дальнейшего развития своих идей Зубатов был вызван в Петербург и назначен заведующим особым отделом департамента полиции. На этой должности он имел возможность устраи-

вать подобные организации в наиболее населенных фабричных центрах. Но эта задача значительно превзошла наши силы, ибо департамент полиции не имел для ее выполнения подходящих людей. Дело окончилось тем, что рабочие организации попали в руки революционеров и не только стали очагами пропаганды, но и инициаторами забастовок. Особенно враждебное к правительству настроение рабочих масс замечалось в Одессе, где поставленные Зубатовым вожди рабочих Шаевич и Вильбушевич организовали огромную забастовку, сопровождавшуюся насилиями толпы. Тогда министерство внутренних дел сделало вторую ошибку: с тем же легкомыслием, с каким оно раньше поддерживало эти организации, оно теперь начало их преследовать. О том, чтобы найти их недостатки и исправить их—никто не думал. Виновник всего, Зубатов, должен был уйти в отставку, и на его место стал Гапон, под руководством которого и совершилась демонстрация 9 января.

Было бы странно взваливать ответственность за 9 января на одно только министерство внутренних дел и на его неудачное вмешательство. Здесь несомненно имели большое значение старания революционеров, которые всякий успех рабочего движения изображают, как свою победу, а во всяком неуспехе, напротив, видят ухудшение положения рабочих, причем правительство всегда обвиняют в систематическом преследовании их. Вожди революционеров знали настроение нашего общества, которое готово верить всякой лжи и клевете, раз она направлена против правительства. Так, при демонстрации 9 января было убито и ранено всего 109 человек, между тем как революционные газеты сообщали о тысячах убитых и раненых. И этому верили, так как при каждой попытке опровергнуть

эти слухи, вам всегда возражали: „Что вы говорите, ведь это было напечатано в газетах".

Говоря о подобном настроении общества, я должен коснуться следующего обстоятельства. Значительное большинство русской интеллигенции считало своей обязанностью ежедневно по утрам читать какую-нибудь либеральную газету и, узнавая из нее все новости и сплетни, составлять себе при ее помощи свои политические убеждения, так как сами они своего определенного мнения не имели.

Помимо военных и политических осложнений, 1905 год начался для царя личным тяжелым горем: 4 февраля в Москве был убит великий князь Сергей Александрович. В момент получения об этом вести я случайно находился в кабинете тогдашнего петроградского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, который пользовался, как известно, особым расположением покойного. Весть об убийстве великого князя глубоко потрясла Трепова, и он очень сожалел, что не мог поехать в Москву на его похороны.

Д. Ф. Трепов был человек прямой. Он не умел притворяться, когда сильные чувства овладевали им, и в данном случае прямота его выразилась в такой резкой форме, как это вряд ли когда-нибудь было в истории русской бюрократии. Вице-директор департамента полиции Н. П. Зуев рассказывал мне об этом следующее. Директор департамента полиции А. А. Лопухин, также сильно взволнованный известием об убийстве, и Н. П. Зуев совещались в своем служебном кабинете о мерах, которые необходимо было принять. К ним вскоре присоединился министр внутренних дел А. Г. Булыгин, который по своей прежней службе в Москве находился в близких отношениях к великому князю. Вдруг раздается звон шпор и в кабинет без вся-

кого предупреждения входит Трепов. Не поздоровавшись ни с кем, он обращается к Лопухину и говорит ему повышенным тоном: „Этим мы вам обязаны". И, повернувшись, немедленно уходит, не сказав больше ни слова. Между Треповым и Лопухиным существовали постоянные трения из-за сумм, которые тратились на охрану особы великого князя Сергея Александровича, и этим, конечно, об'ясняется вышеописанная сцена.

Я в тот же вечер уехал в Москву и принял участие в дежурствах у гроба покойного, как бывший секретарь великой княгини в дамском комитете Красного Креста, каковой пост я занимал до моего назначения курским вице-губернатором. Великая княгиня собирала буквально по кусочкам тело убитого мужа. Смерть его произвела на нее потрясающее впечатление, которое сказалось не только в первые дни после убийства, но сохранилось на всю жизнь. Никогда я не забуду минуты, когда она, накануне похорон, часу в 3-ем ночи, зашла в церковь, где находился гроб и где я как раз в то время вместе с другими дежурил. Она двигалась, как автомат, повидимому, совершенно не сознавая окружающего. Подойдя ко гробу, она подняла крышку и начала руками поправлять и приводить в порядок тело усопшего. Мы, дежурившие у гроба, застыли и не смели шевельнуться. К великой княгине подошел ее гофмейстер Н. А. Жедринский и увел ее во внутренние покои.

Не менее трогателен и другой эпизод, относящийся к этим печальным дням, о котором рассказал мне также Жедринский. Разрывом бомбы, брошенной в Сергея Александровича, был тяжело ранен глубоко преданный ему кучер. Он вскоре умер в больнице и был погребен еще до великого князя. Рано утром Жедринскому дали знать, что великая

княгиня поехала на простом извозчике на похороны кучера. Жедринский поспешил в больницу, но встретил уже по дороге гроб с останками, а за гробом медленно шла великая княгиня, не обращавшая, повидимому, никакого внимания на окружающих. Жедринский не посмел обеспокоить ее и молча присоединился к процессии. Пешком дошла Елизавета Федоровна до кладбища, стоя прослушала панихиду и затем сопровождала гроб на кладбище до могилы. Потом она пошла к выходу, совершенно не замечая, что идет по глубокому снегу. Жедринский поспешил к ней и усадил ее в экипаж. Все, кто видел великую княгиню и имел случай говорить с ней, знали любезность, с которой она обращалась со всеми, особенно с близко стоящими к ней лицами. Особенным расположением ее пользовался гофмейстер Жедринский. „Великая княгиня, повидимому, меня не узнала—рассказывал он—она только кивнула головой, когда я усаживал ее в экипаж".

Этим нервным расстройством и нужно, повидимому, об'яснить то, что она посетила в тюрьме убийцу своего мужа, террориста Каляева.

Она говорила с ним из чувства всепрощающей христианской любви и оставила в его камере небольшой образок. Посещение это глубоко поразило Каляева, как это видно из написанного им к великой княгине письма, с которым я тогда же познакомился. В этом письме видна внутренняя борьба человека, который, с одной стороны, не может не признать величия души супруги своей жертвы, а с другой—желает оправдаться пред своими единомышленниками и партийными товарищами в том, что он более глубоко чувствует и что в глубине души его еще не угасли ее лучшие порывы.

ГЛАВА II.

После погребения великого князя Сергея Александровича я уехал в Курск, где замечалось в то время сильное брожение среди учащейся молодежи, особенно в землемерном училище, и где в земстве велась энергичная пропаганда так называемым третьим элементом. Последнему удалось, в конце концов, устроить уличную демонстрацию, во время которой дело дошло до столкновения с полицией. Само собой разумеется, что в революционной печати скоро появились неизбежные сообщения об избиениях участников этой демонстрации, причем главная роль в этом приписывалась мне, хотя меня в то время совсем не было в Курске. В действительности я имел касательство к этим, так называемым, массовым избиениям, но позднее, по возвращении из Москвы. Со мною вместе работал прокурор харьковской судебной палаты С. С. Хрулев, который лично вел расследование и сам допрашивал вин[illegible]ных в моем присутствии. Приэтом было с несомненностью установлено, что полиция в своих действиях не позволила себе никаких насилий над населением.

Крестьянские беспорядки, начавшиеся в 1904 г., в феврале 1905 года перебросились в Курскую губернию. Получив донесение о разгроме нескольких имений, курский губернатор Н. Н. Гордеев командировал меня с эскадроном Новороссийского драгунского полка в Дмитровский уезд, где впервые возникли беспорядки. По железной дороге мы ночью прибыли в г. Дмитров, откуда нам предстояло добраться верхом до мест погромов.

В этой экспедиции приняла участие и местная судебная власть в лице товарища прокурора и судебного следователя по особо важным делам. Как

бывший кавалерист, я понимал, что эскадрону при 25 градусах мороза предстояла тяжелая поездка, тем более, что я решил в тот же день прибыть на место погромов. Будучи убежден, что от других можно только тогда ожидать исполнения трудного задания, когда сам подаешь добрый пример, я велел подать мне полковую лошадь и во главе эскадрона выехал из Дмитрова. По дороге мы то и дело наталкивались на пожарища в разных местах. Мне предстояло или посетить те места, где произошли погромы, или поспешить туда, где их еще не было, дабы спасти еще не разоренные имения. Я выбрал последнее и поступил правильно, потому что, проехав еще около 20 верст, мы натолкнулись на только что разгромленное имение Шауфуса. По дороге мы проехали через сожженное имение Волкова, в котором находился прекрасный конский завод и много племенного скота. Мы видели множество трупов лошадей и коров с перерезанными жилами на ногах и распоротыми животами, из которых вывалились внутренности. Неленая и бессмысленная жестокость...

67231

В имении Шауфуса наши драгуны разогнали погромщиков, пытавшихся увезти на санях награбленное имущество. Я приказал арестовать 20 человек и взять их сани. Товарищ прокурора и судебный следователь, ехавшие сзади нас в экипаже, сами были свидетелями попыток увезти разграбленное. Мне оставалось еще проехать 8 верст до деревни Дубовицы, где находилась главная контора имения и конского завода барона Мейендорфа. Лошадь подо мной шаталась от усталости, но мы все-таки исполнили нашу задачу.

От деревни Дубовицы к конторе шла узкая гать. В то время, как мы с эскадроном ехали по ней, я услышал вдруг сзади крик. Под'ехав к эскадрону,

я узнал, что какой-то крестьянин напал на находившегося сзади вахмистра и нанес ему колом удар по голове. Вся местность была покрыта народом, явно враждебно настроенным. Я приказал эскадрону остановиться и дать схваченному крестьянину тут же на месте, в присутствии всей толпы, 25 розог. Шум и враждебные крики моментально затихли. К подобному же приему мне пришлось прибегнуть еще только один раз, именно на другой день, в селе Добром, у одного крестьянина, который упорно отказывался вернуть награбленное имущество.

Революционная печать в течение многих лет обвиняла меня в том, что я сек сотни крестьян деревни Дубовицы и соседних сел и деревень. Даже член кадетской партии Черносвитов, который когда-то одновременно со мной был товарищем прокурора владимирского окружного суда, обвинял меня в этом с думской кафедры при обсуждении в Думе бюджета главного тюремного управления. Я кратко возразил и опроверг эти обвинения Черносвитова, и последний в ответ сказал мне смущенно: „Об этом писали и газеты". Не могу пройти молчанием, что ни одна газета не напечатала у себя ни моих возражений, ни ответа Черносвитова. Невольно является у каждого вопрос, какая собственно связь между крестьянскими беспорядками в Курской губернии и обсуждением бюджета тюремного ведомства.

Я остановился в конторе имения, а всем волостным старшинам Дмитровского уезда приказал собраться к моему приезду во дворе Дубовицкой экономии. Между ними выделялся своим почти вызывающим видом высокий молодой крестьянин, который, как потом оказалось, был старшиной в той волости, где было сожжено Волковское и разгромлено несколько других имений. Становой пристав

доложил мне, что этот старшина не только не принимал никаких мер к защите и охране помещиков от насильственных действий крестьян, что было его прямой обязанностью, но что он, напротив, сам являлся зачинщиком и подстрекателем погромов. Я приказал снять с него цепь старшины в знак того, что смещаю его с должности, и арестовать его, так как пристав говорил мне, что имеет документы, вполне доказывающие его виновность.

Вскоре после этого мне донесли, что крестьяне нескольких сел сговорились напасть ночью на сахарный завод барона Мейендорфа, находившийся в 12-ти верстах от Дубовиц. Эскадронный командир просил меня дать лошадям немного отдохнуть, в чем я, конечно, не мог отказать ему. В полночь половина эскадрона направилась под командой штаб-ротмистра князя Гагарина к заводу и по дороге встретила около 400 повозок, ехавших на погром. Само собой разумеется, что их разогнали.

Задача моя была окончена. Из окна вагона я видел следы бывших в Орловской губернии пожаров, которые повторялись там в течение нескольких дней. Там применялась другая система борьбы, так как орловский вице-губернатор генерал Бельгард не предупреждал погромов, а разъезжал по их следам.

Несколько дней спустя прибыли прокурор харьковской судебной палаты, члены палаты и судебные следователи для производства следствия. Так как в уезде все уже успокоилось, то я хотел уже вернуться в Курск, но получил от губернатора телеграмму с предложением оставить драгун в Дубовицах и самому отправиться в Рыльский уезд, где один сахарный завод уже был разгромлен и то же предстояло сахарному заводу Терещенко.

Командир эскадрона об'явил мне категорически, что не пустит меня одного, передал команду старшему офицеру и рано утром выехал со мной в Рыльский уезд. К вечеру мы добрались до завода Терещенко. У ворот его стояли караульные какого-то запасного пехотного полка. В конторе встретили меня исправник, командир воинской части капитан Григорьев и управляющий заводом с семьей. Все они имели испуганный вид. Исправник доложил мне, что при разгроме одного из заводов, накануне, он видел во главе крестьянских банд замаскированных людей, которые после начала погрома стали играть на рояли. Покончив с этим заводом, крестьянская ватага направилась к заводу Терещенко, и управляющий ждал разгрома именно сегодня ночью. По сведениям, полученным исправником в момент моего прибытия, крестьяне занялись по дороге грабежом усадеб и нападения их на завод можно было ожидать с часу на час. „Считаю необходимым довести до вашего сведения,—закончил исправник свой доклад,—что находящаяся здесь на заводе воинская часть в высшей степени ненадежна. Она состоит наполовину из запасных, большей частью местных рабочих, которые вчера вечером при вступлении в завод очень дружелюбно здоровались со своими бывшими товарищами".

— Разве одесские драгуны еще не прибыли?— спросил я исправника.

Он ответил отрицательно и добавил, что ему на этот счет ничего не известно.

Капитан Григорьев представлял собою тип старого строевого офицера и не знал никаких сомнений и колебаний, когда дело касалось исполнения долга. Он подтвердил мне слова исправника о составе и настроении своих людей. На мой вопрос,

что он думает предпринять в случае нападения на завод, он дал мне такой ответ:

— У меня в карманах два револьвера и один в ящике. В случае неповиновения я расстреляю все свои патроны и последний оставлю для себя.

Все эти воспоминания заставляют меня уклониться несколько в сторону, и невольно приходят на ум сравнения, показывающие, как мало пользы принесли нам уроки прошлого. В то время наличность запасных из рабочих, призванных для водворения порядка среди их товарищей, была не особенно опасна для Терещенковского сахарного завода. Но опасность эта была очень велика, когда в 1916 и 1917 годах в Петербурге собрано было около 200.000 запасных, большая часть которых были местные рабочие. В этот раз ошибка оказалась роковой, и правительство собственными руками подготовило военный мятеж, который должен был погубить Россию.

Под неприятным впечатлением этих сведений я сел обедать у управляющего. Вся семья его, особенно дамы, были в очень возбужденном состоянии. Старания мои поднять немного настроение и успокоить семью эту, изнервничавшуюся от двухдневного ожидания погрома, были мало успешны. Во время обеда появился местный жандарм и доложил, что прибыл командир одесских драгун подполковник барон Врангель. Я поспешил пригласить его в столовую, и барон, совершивший 60-верстную поездку верхом, весь покрытый снегом, доложил мне, что он только-что прибыл с двумя эскадронами драгун. Я попросил его сменить тотчас же своими людьми пехотные караулы, а капитану Григорьеву приказал немедленно уехать по железной дороге со своей частью в место своего постоянного расположения. Драгуны выставили патрули, и

вид кавалерии до того испугал крестьянскую массу, двигавшуюся к заводу, что она предпочла повернуть назад. Таким образом, удалось с Божьей помощью предупредить столкновение с грабителями и спасти завод.

Расположенное около завода село насчитывало около 2.000 правомочных крестьян, которым я приказал собраться на другой день на сход. Я об'яснил им всю преступность и недопустимость погромов и высказал уверенность, что они ничего подобного себе не позволят. Толпа отвечала ропотом одобрения и согласия, и несколько человек, стоявших впереди, сказали, смеясь: „Мы с Дубовиц знаем, что ваше превосходительство шутить не любите". Этот ответ характерен и доказывает, что, применяя вовремя наказания, можно не пускать в ход оружия при подавлении подобных беспорядков.

Мои распоряжения, вызвавшие подобное настроение крестьян и сделавшие излишним применение оружия, послужили, конечно, поводом для нападок на меня со стороны революционных вожаков. Чтобы революционизировать крестьян и направить их на правительство, они не считались с человеческими жертвами, которые были неизбежны при столкновении военной силы с бунтовщиками.

Мне нечего было больше делать на заводе, и я вернулся в Курск, куда приехал специально посланный генерал-ад'ютант Пантелеев, которому я доложил обо всем происшедшем и о принятых мной мерах. Он благодарил меня от имени государя за то, что мне удалось восстановить порядок без человеческих жертв.

Эта благодарность еще раз указывает, как царь относился к пролитию народной крови и как сильно желал он знать истинную правду, если посылал

нарочно своих генерал-адъютантов в местности, где имели место подобные беспорядки.

Я уже говорил о враждебном по отношению к правительству настроении курского земства. Однако, оно должно быть названо скорее консервативным; если же в нем и было где-либо подобное настроение, то разве только в Суджанском уезде, где во главе стоял ставший впоследствии известным вождь кадетской партии князь Павел Долгоруков, которого народная молва в 1905 году называла кандидатом на царский престол.

Отдавшись всецело своим партийным делам, князь считал ниже своего достоинства интересоваться хозяйственной стороной земской деятельности. Оппозиционное настроение Суджи обеспокоило, наконец губернатора Гордеева, который, очевидно, решил начать борьбу с политиканствующими земскими деятелями. Когда я однажды вечером заехал к губернатору, то застал его беседующим с начальником курского жандармского управления об агитации и политических преступлениях некоторых суджанских обывателей, и, особенно, секретаря уездной земской управы Волкова, который фактически замещал витавшего в высших политических кадетских сферах князя Долгорукова.

Губернатор ознакомил меня с предметом беседы и спросил мое мнение на этот счет. Я сказал, что на основании своего долголетнего прокурорского опыта пришел к заключению, что занятия революцией всегда дурно отражаются на ведении земских дел и нередко ведут к растрате части общественных сумм. Я не думаю, чтобы суджанское земство представляло в этом отношении исключение. Было бы поэтому целесообразнее вести с ними борьбу не на политическом поприще, что всегда возбуждает страсти против правительства, а на уголов-

ном, причем губернаторы могут пользоваться присвоенным им правом контроля и ревизии земских учреждений. Гордеев вполне согласился с моим мнением и просил меня взять на себя дело ревизии. Мы порешили на этом и, пару дней спустя, я выехал в Суджу в сопровождении нескольких чиновников губернского правления и опытных счетоводов казенной палаты.

В Судже я князя Долгорукова не застал, и при посещении земской управы меня принял „знаменитый" секретарь Волков. Передо мной стоял хитрый русский мужичек (Волков происходил из крестьян) с проницательными, зоркими глазами. Когда я сел в зале присутствия, он спросил меня, что собственно я желал бы видеть. Я сказал, что больше всего интересуюсь книгами земства. Тогда он, слегка улыбаясь, указал на дверь соседней комнаты, где— об'яснил он—находится библиотека земства и склад его изданий. Я ответил, что с библиотекой ознакомлюсь потом, теперь же хочу видеть приходо-расходную книгу, из которой мог бы ознакомиться со всем хозяйственным и денежным положением земства. Сильно смущенный, Волков принес мне эту книгу.

В бытность мою товарищем прокурора московской судебной палаты я близко познакомился с наделавшим в то время много шума процессом С. И. Мамонтова, обвинявшегося в растрате 5 миллионов рублей из средств Московско-Архангельской железной дороги. Отчетность ее была очень запутана и бухгалтерская экспертиза обнимала собой целый том. Чтобы разобраться во всем этом материале и не зависеть исключительно от мнения экспертов, я изучил в течение двух месяцев у одного очень опытного московского преподавателя бухгалтерии Прокофьева искусство бухгалтерского ведения книг,

так что мог в конце концов не только ориентироваться, но и вести любую отчетность.

И вот в данном случае мои знания мне очень пригодились. Мне достаточно было бросить беглый взгляд в главную приходо-расходную книгу, чтобы убедиться в ее хаотическом ведении: не было не только ежедневных, но и месячных итогов и, кроме того, казался сомнительным перенос итога с прошлого года. Я спросил Волкова, может ли он сообщить мне на основании этой главной книги итоговые суммы земской управы вплоть до дня ревизии и получил ответ, что это очень кропотливая работа, для которой требуется сверка с различными вспомогательными книгами. Тогда я потребовал все эти книги и вместе с моими чиновниками приступил к составлению баланса. Это оказалось далеко не легкой работой, над которой мы просидели больше двух недель, занимаясь ежедневно с раннего утра до поздней ночи.

Наше внимание прежде всего обратили на себя многочисленные расходные записи в материальных книгах, напомнившие мне знаменитые мамонтовские „деловые расходы", которые вносились в книги расхода без всяких оправдательных документов. В общем баланс показал дефицит в 60 тысяч рублей. Волков об'яснил, что эта сумма содержится в сапожных товарах земской сапожной мастерской, находящейся в 40 верстах от Суджи. На следующий день мы отправились туда и произвели ревизию этой мастерской. Оказалось, что там действительно имелся склад сапожных товаров, но далеко не на такую сумму. Таким образом, часть денег была израсходована неизвестно на что и их, по всей вероятности, нужно было искать там, куда меня так любезно приглашал Волков, именно, в земской библиотеке, не разрешенные издания которой

были частью распределены в публике, а частью спрятаны при моем приходе.

Результаты моей ревизии я представил губернатору, который передал их в губернское правление на предмет возбуждения судебного преследования. Волков же должен был уже теперь оставить свое место. Вследствие моего отъезда из Курска мне остался неизвестным дальнейший ход этого дела. Но оно во всяком случае характерно для либеральных защитников русского народа; которые так распоряжались его средствами, что сельские сборы с крестьян в большинстве губерний значительно превосходили городские налоги.

Моя служба в Курской губернии закончилась событием, которому я придаю особенное значение и которое увеличило бы—если бы это было возможно—мою и без того безграничную преданность царю.

Среди разного рода несчастий, которыми была так богата для нас Дальневосточная война, есть одна катастрофа, которая причинила России тяжелое горе, но в то же время вызвала у всех чувство национальной гордости. Я говорю о добровольной гибели миноносца „Стерегущий". Геройский подвиг командира, лейтенанта Сергеева, увековеченный в чудном памятнике, известен всем. В Курске жил престарелый отец лейтенанта Сергеева. Он был болен и скромно жил в маленьком домике на свою скудную пенсию, выслуженную многолетней службой. Об этом случайно узнал губернатор и написал морскому министру. После этого губернатор на несколько дней уехал куда-то в отпуск. На следующий день, часов около 7 вечера, мне подали телеграмму с надписью „высочайшая". Я вскрыл ее и прочитал приказание государя губернатору лично посетить старика Сер-

геева и выразить ему соболезнование от имени царя и восхищение геройским поступком его сына. Я приказал предупредить Сергеева о моем предстоящем визите и отправился к нему в полной парадной форме. Я нашел одинокого, больного старика, сидевшего на стуле. Он был очень удивлен моим визитом, но удивление его перешло в неописуемую радость, когда я прочитал ему телеграмму царя. Старик залился слезами и просил меня передать его величеству его верноподданическую благодарность.

Я никогда не забуду ни этих слез, ни той отеческой внимательности, которую выказал государь император своему подданному. Об исполненном мной радостном поручении я донес непосредственно на высочайшее имя.

ГЛАВА III.

После всего изложенного я недолго оставался в Курске, так как летом был назначен минским губернатором.

Я прибыл в Минск при очень тяжелых обстоятельствах. Предыдущей зимой здесь были большие беспорядки и демонстрации, в которых приняли участие воспитанники учебных заведений. Прежний губернатор граф Мусин-Пушкин не только не был хозяином положения, но даже дал увлечь себя в демонстрации, причем однажды манифестанты воспользовались красной подкладкой его пальто для своего революционного знамени. Губернское правление и полиция находились в состоянии полного развала, и я был принужден начать с того, что уволил своего правителя дел и полицеймейстера.

Несколько дней спустя после моего приезда я, выйдя как-то на балкон своего дома, заметил на улице газетчиков, которые сновали среди публики с красными экстренными прибавлениями газет. Я уже знал, что в Минске это означает готовящуюся забастовку и уличную демонстрацию. Торговцы стали быстро закрывать свои лавки и на улицах начали собираться группы манифестантов. Демонстрации эти рассеивались в течение дня полицией, причем, к счастью, до столкновений дело не доходило. В 4 часа дня на Губернаторской улице собралась огромная толпа, которая не разошлась по требованию полиции и прорвала ее цепь. Тогда я велел вытребовать казаков 2-го донского полка. В виду непрекращавшихся все время в Минске беспорядков командующий войсками виленского военного округа распорядился усилить минский гарнизон, состоявший из одного пехотного резервного полка и одной артиллерийской бригады, сотней казаков и двумя эскадронами драгун.

В течение всей моей службы я был всегда против того, чтобы пользоваться пехотой для подавления уличных беспорядков, так как очень хорошо знаю, что при столкновениях ее с народными массами неизбежны многочисленные жертвы.

Поэтому я предпочитаю обращаться всегда в таких случаях к кавалерии. Призванные казаки попытались сперва рассеять манифестантов, не прибегая к оружию; не пустили его в ход даже тогда, когда из толпы раздался выстрел, которым был ранен один казак и лошадь. Казаки окружили часть манифестантов, где находились вожаки, и отвели их в тюрьму. Я поехал туда и об'яснил этой группе людей, что арестую их, так как они нарушили мой приказ, воспрещающий всякого рода уличные собрания и сходки, и не подчинились требованиям поли-

ции и войск разойтись. Большинство арестованных принадлежало к революционной партии „Бунд". Возвращаясь домой, я видел, что на улицах царит полная тишина и спокойствие, и радовался, что день этот прошел сравнительно благополучно. Дома ждала меня спешная работа, так как незадолго до этого я получил телеграмму о частичной мобилизации войск.

Мой рабочий кабинет находился в нижнем этаже В соседней комнате помещались приглашенные мной для особенно спешной работы чиновники, а в передней постоянно находилось несколько городовых и драгун. Едва я сел за письменный стол, как раздался взрыв. Стекла зазвенели, и электричество погасло. В темноте я бросился на внутреннюю лестницу, чтобы успокоить жену, но она бежала уже вместе с горничной мне навстречу, держа в руках зажженные свечи. Мы спустились по парадной лестнице в нижний этаж. Передняя и часть приемной представляли страшную картину: на полу в разных местах лежали и стонали городовые, драгуны и чиновники. К счастью, никто не был убит, но было довольно много тяжело раненых. От взрыва полопались стекла в приемной и в гостиной, во втором этаже. Лица, находившиеся в этих помещениях, были ранены осколками: у одного драгуна извлекли в бо́льнице 28 кусков стекла. В моем кабинете стекла уцелели, кроме одного, которое лопнуло. Перед домом была найдена окровавленная шапка, повидимому, принадлежавшая человеку, который бросил бомбу. Виновный не был схвачен.

Дальнейшая жизнь в Минске протекала довольно мирно, хотя часто бывали забастовки на политической почве. Находившаяся в Минске кавалерийская часть была заменена кубанским казачьим полком. Я пригласил всех офицеров этого полка к себе на

обед. Когда мы сели за стол, я заметил, что одно место осталось незанятым. Командир полка об'яснил мне, что полковой ад'ютант внезапно заболел и потому не мог явиться к обеду. Я высказал сожаление ему и скоро забыл об этом случае. На другой день полицеймейстер при докладе сообщил мне, что заболевший офицер, не явившийся к обеду, ночью умер, и вынос его тела из военного госпиталя назначен на 4 часа. Хотя час погребения был несколько необычный, но я не стал расспрашивать о причинах этого, а сказал, что буду на погребении. Когда я на другой день в назначенный час под'ехал к госпиталю, то нашел перед ним полусотню казаков, выстроившихся фронтом с хором трубачей на фланге. Офицеры же с командиром собрались у ворот. На мой вопрос, где находится умерший, мне указали один из бараков. Я направился туда и хотел уже подняться на ступени его, когда меня нагнал полицеймейстер и просил не заходить туда, потому что офицер этот умер от тифа. Я ответил, что тифа не боюсь, потому что болел уже им, и пошел в барак. Моему примеру последовали все офицеры, и мы подошли к металлическому гробу, около которого была отслужена краткая лития, после чего гроб был поставлен на катафалк, и процессия направилась на кладбище. Гроб был опущен в могилу, и я хотел уже удалиться, когда командир полка подошел ко мне и сказал, что офицеры и казаки очень тронуты вниманием, оказанным мной их умершему товарищу, и просят позволения отблагодарить меня по старому казачьему обычаю. Я не знал, в чем заключается этот обычай, но, конечно, согласился и к удивлению своему увидел выстроенным, не сотню, но весь казачий полк в полном составе и в таком виде он, окружив мой экипаж полуколь цом, сопровождал меня до самой моей квартиры.

Наступил октябрь; все линии минского железнодорожного узла, как и вся Россия, бастовали. 16-го числа городской голова сообщил мне, что рабочие водопровода забастовали и также готовятся забастовать рабочие электрической станции. Я тотчас же отправился на водопровод и электрическую станцию и заменил забастовавших рабочих солдатами. В результате получилось то, что рабочие стали просить меня взять их назад на работу. Таким образом, ни водопровод, ни электрическая станция работы своей не прекращали ни тогда, ни впоследствии.

Отсюда я поехал на вокзал, где уже в течение нескольких дней батальон пехотного резервного полка нес службу по охране мастерских и зданий. Мне доложили, что со стороны железнодорожников не наблюдается никаких попыток к забастовке. Когда я проходил через зал I-го класса, ко мне подошел контролер Соба и попросил меня разрешить собрание железнодорожников. Я ответил, что ничего не буду иметь против, если просьба об этом будет исходить также от начальника дороги.

— Разве вы не получили никаких предписаний из Петербурга?—неожиданно спросил меня Соба.

Когда я ответил отрицательно, он заметил:

— Ну так вы получите их, если не сегодня, то завтра.

Я в то время не придал никакого значения этому вопросу и только потом, спустя несколько дней, убедился, что революционные партии гораздо больше заботились о том, чтобы держать своих товарищей в провинции в курсе дел, чем министерство внутренних дел—своих губернаторов.

Вечером начальник дороги повторил просьбу о разрешении собрания железнодорожников, и я разрешил его на другой день в 9 часов утра под лич-

ной ответственностью начальника. На другой день, 18 октября, последний явился ко мне утром осведомиться, не переменил ли я своего решения, и в разговоре упомянул о манифесте, на что я опять-таки не обратил внимания. Лишь позднее, во время доклада, я спросил полицеймейстера, о каком манифесте идет речь. Полицеймейстер ответил, что он только что собирался поговорить со мной об этом и сообщил, что в аптеке Венгерова висит манифест о конституции, повидимому, оффициального происхождения. В эту минуту ко мне в комнату вошел вице-губернатор. Он показал мне манифест 17 октября, отпечатанный в частной типографии, и спросил, не следует ли опубликовать его оффициально. Я ответил, что ему должен быть знаком способ опубликования высочайших манифестов, но что я до настоящего момента не получил из министерства ни манифеста, ни каких-либо предписаний на этот счет. Затем я высказал опасение, как бы появление манифеста частным образом не создало бы тревоги в населении, особенно при том настроении, какое замечалось в последние дни. Я приказал полицеймейстеру строго держаться постановлений, выработанных в особой комиссии под моим председательством на случай возникновения беспорядков. Эти постановления, между прочим, предусматривали предоставление в мое распоряжение конных курьеров в случае перерыва телефонных сообщений при наступлении беспорядков. Наконец, я получил от министра внутренних дел манифест 17-го октября и приказал вице-губернатору принять меры к его немедленному опубликованию, а полициймейстеру немедленно сообщать мне о всяком движении в городе.

Такая запоздалая высылка манифеста, вероятно не мне одному, но и другим губернаторам, должна

была иметь бесконечно вредные последствия для всей России. Если принять во внимание, что текст манифеста содержал только указание на будущие законы, то было более чем необходимо предварительно ознакомить с его содержанием губернаторов и дать им определенные директивы относительно общей и единообразной деятельности местных органов власти при решении вопросов, вызванных к жизни появлением манифеста.

Точно также был неопределенен и высочайше утвержденный доклад графа Витте, так как он ни в коем случае не имел той точности и ясности, которая необходима с точки зрения разумно понимаемой государственной власти. И вот произошло нечто невероятное: во всех губерниях манифест разно толковался и различно применялся, что само по себе было уже опасно при стремлении противоправительственных партий дискредитировать этот манифест. Этим об'ясняется возбуждение народа, выразившееся в беспорядках, и едва не доведшее Россию до революции, не будь твердой руки П. Н. Дурново, назначенного тогда министром внутренних дел.

Во время обеда мне донесли, что перед губернаторским домом собирается толпа с красными знаменами, на которых красовались надписи: „Долой самодержавие". Толпа эта скоро покрыла всю площадь. Я вышел на балкон, и один из участников демонстрации обратился ко мне с просьбой принять депутацию, которая изложит мне желания „свободного народа". Я обратился к толпе, поздравил ее с высокою царской милостью и высказал уверенность, что народ поймет момент и сумеет сохранить порядок в этот торжественный день. Вместе с тем я попросил депутацию ко мне в приемную.

Революционная печать упрекала меня, что депутация эта была встречена в передней казаками, которых я, будто бы, позвал. Но в этом упреке кроется недоразумение, или даже, вернее, намеренное извращение истины. Дело заключается в том, что казармы и конюшни кавалерии находились далеко от центра на краю города, и потому состоявшая в моем распоряжении часть ее устроилась в губернаторском доме, где имелось много свободных помещений для людей и отличные конюшни для лошадей. Казаки, услышав шум и крики, выбежали из своих помещений и бросились в переднюю...

Депутация вступила в приемную и обратилась ко мне не с просьбой, а с целым рядом требований, среди которых было немедленное освобождение всех политических и административных арестантов, а также удаление из Минска казаков. Я ответил, что, во-первых, только во власти царя издание новых законов, гарантирующих его подданным известные свободы; что же касается меня, то я должен пока придерживаться старых, еще не отмененных законов, но что в своей деятельности я принужден, конечно, отныне считаться с новым, дружественным народу манифестом...

Во-вторых, казачий полк находится в Минске по распоряжению высшего военного начальства, и я не имею ни права, ни власти отменить это распоряжение. Наконец, что касается политических арестованных, то они состоят в ведении следственных властей и прокуратуры и потому только от этих последних зависит их освобождение. В виду же торжественности сегодняшнего дня я приказываю освободить всех арестованных по моему распоряжению. Я тотчас же велел исполнить этот приказ и обратился к депутации с просьбой воспользо-

ваться своим влиянием на толпу, чтобы удержать ее от всяких эксцессов. В ответ на эту просьбу я совершенно неожиданно услышал от одного из депутатов:

— Не думайте, что войска по вашему приказанию будут стрелять в народ.

На это я сказал, что не собираюсь ни в кого стрелять, но предупреждаю, что не допущу в городе никаких беспорядков.

С губернаторской площади толпа направилась к тюрьме. Начальник военной охраны обратил внимание ее на то, что он не имеет права подпустить ее к зданию ближе, чем на 50 шагов, и что, в случае нарушения этого правила, он принужден будет приказать открыть огонь. Это спокойное, но твердое заявление заставило толпу остановиться. Затем она громкими криками приветствовала выпущенных из тюрьмы административно арестованных и вместе с ними направилась к вокзалу.

Здание вокзала, как я уже сказал, охранялось с некоторых пор войсками. Поэтому мне не приходилось назначать для него особой охраны. Кроме того, часть охраны находилась на железнодорожном мосту и на насыпи. Начальником ее был батальонный командир, оказавшийся трусом или же не знающим своих обязанностей офицером. Не предупредив толпу, чтобы она не приближалась к войскам, он допустил ее на очень близкое расстояние. Толпа в нескольких шагах от солдат поставила стол, взбираясь на который, ораторы начали произносить противоправительственные и оскорбительные для царя речи. Кто-то отнял у начальника охраны шашку и к ней прикрепил красное знамя; затем толпа начала отнимать винтовки у спокойно стоявшей до этого стражи. Этого солдаты не стерпели и вдруг, без чьего-либо приказания, открыли по толпе беспорядочный огонь. К ним присоедини-

лись солдаты, стоявшие на мосту и насыпи, и также начали стрелять в народ, в результате чего на месте оказалось много раненых и убитых. Через несколько минут площадь была пуста: толпа разбежалась, захватив, однако, с собой раненых и убитых, что является характерным для тех массовых выступлений, в которых большинство составляют евреи.

Я оставался все время дома, чтобы быть вблизи телефона, так как я приказал немедленно сообщать мне обо всем, что произойдет в городе. Начальник жандармского управления Либаво-Роменской железной дороги генерал-майор Вильдеман-Клопман сообщил мне по телефону, что толпа манифестантов находится у вокзала и пытается отнять у солдат оружие. Он спрашивал указаний, как поступить, и я ответил, что в случае насильственных действий со стороны толпы распоряжение вокзалом и принадлежащими к нему зданиями должно быть переданно военной власти, и что я немедленно приеду сам. Не прошло и двух минут, экипаж мой, уже запряженный, не успел под'ехать к под'езду, как генерал Вильдеман сообщил, что войска стреляли в толпу, которая разбежалась, и что площадь пуста.

При таком положении дел, я не счел нужным ехать на вокзал и оставить губернаторский дом, откуда каждую минуту я мог бы распорядиться по телефону. Я приказал полицеймейстеру вызвать врачей и организовать врачебную помощь, которая, однако, прибыв на площадь, не нашла ни одного убитого или раненого.

Хорошо понимая значение происшедших событий, я предвидел, что они подадут повод к новым, более сильным, выступлениям революционеров, и потому обратился к начальнику гарнизона генералу Ильинскому с просьбой поручить немедленно военному следователю произвести дознание относительно

образа действий войск, которые находились при исполнении служебных обязанностей, а потому подлежали ведению военной юстиции. По приказанию начальника гарнизона на вокзал немедленно отправился военный следователь полковник Фишер.

Этого законного распоряжения никогда не мог простить мне минский прокурор Бибиков, которого я знал еще со времени моей службы в прокуратуре. Его вдруг обуял порыв сильнейшего либерализма, которым в те печальные дни, страдали, впрочем, многие чиновники. То обстоятельство, что при своем появлении на вокзале он нашел уже военного судебного следователя и что благодаря этому был лишен возможности проявить свой новоиспеченный либерализм, заставило его обрушитьея на власть с целым рядом обвинений.

Надо еще упомянуть, что события этого дня произвели такое сильное и вредное влияние на его здоровье, что он заболел нервным расстройством и был вынужден оставить службу, чтобы заняться лечением. Он счел своим долгом отвести передо мной свою душу и явился ко мне в таком возбужденном состоянии, что мне стоило больших трудов его успокоить.

Этот тяжелый день имел дурное влияние и на мои нервы, так что я в течение почти всей ночи не мог заснуть. Около часу ночи мне позвонил Бибиков и просил принять его секретаря по неотложному делу. Я ответил, что готов, несмотря на поздний час, принять Бибикова или его товарища, но считаю излишним входить в какие бы то ни было переговоры с секретарем. Часа два спустя ко мне явился старший товарищ прокурора и подал письмо от Бибикова, запечатанное, против всяких правил, казенной печатью. В этом письме прокурор извещал меня, что события на вокзале

страшно взволновали весь город и что во избежание дурных последствий, в виду того, что власть утратила всякий авторитет в глазах населения, он просит меня передать свои полномочия судебному ведомству. Я письменно ответил, что назначен губернатором высочайшим указом, данным на имя правительствующего сената, и потому не считаю себя вправе передавать кому бы то ни было вверенную мне власть.

Два или три дня спустя, я получил от министра внутренних дел приказ по телеграфу передать свою должность вице-губернатору и немедленно явиться в Петербург.

Оказалось, что депутация минских граждан, предводительствуемая городским головой, обратилась с жалобой на меня к графу Витте. Я предположил, что вероятно происшедшие события были представлены ему в таком извращенном виде, что он пришел к заключению о невозможности оставить меня на губернаторском посту и попросил министра вызвать меня в Петербург.

На другой день я уехал в Петербург—это был первый поезд, отправлявшийся после забастовки; после долгих мучений—я ехал частью в товарном вагоне, частью в вагоне третьего класса—я прибыл наконец, в столицу.

Следующим утром я известил по телефону министра о своем прибытии, и получил приказ явиться к нему в 4 часа дня. А. Г. Булыгин принял меня очень любезно и, на вопрос о причине моего вызова, сказал:

— Граф Витте пожелал, чтобы вас вызвали; я здесь ни при чем. Кроме того, я уже не министр. Поезжайте к министру внутренних дел П. Н. Дурново.

— Что вы делаете здесь? Ваше место в губернии.

Такими словами встретил меня новый министр.

Я об'яснил ему, что приехал по вызову, но не знаю причины его. Булыгин мне сказал, что я вызван по распоряжению председателя совета министров. Дурново пожал плечами,

— Чорт знает, что такое,—сказал он,—я ничего не понимаю. Быть может, генерал Трепов знает, в чем дело.

Генерал Трепов был тогда назначен товарищем министра. Дурново позвонил ему и просил принять меня, если можно, немедленно. Трепов жил в том же доме. Я поднялся к нему и в первый момент не узнал его: он очень исхудал, глаза глубоко ввалились, и вообще он произвел на меня впечатление очень уставшего человека.

— Граф Витте,—сказал он мне,—требует вашей отставки, но я нахожу, что вы вполне правы и никогда не соглашусь на ваше увольнение.

На другой день я получил приказ явиться к министру юстиции, чтобы доложить ему о событиях в Минске. С. С. Манухин получил, по словам Дурново, удивительное донесение на этот счет от прокурора минского окружного суда Бибикова.

Я знавал Манухина еще со времени моей службы в прокуратуре, когда он занимал пост директора первого департамента министерства юстиции. Манухин был выдающийся юрист, безупречно честный, крайне обязательный и любезный человек. Он считался либералом, но с его либерализмом можно было легко мириться и не ставить ему этого в вину. Либерализм его, свойственный многим судьям, выражался в особом уважении к судебным уставам и ко всем реформам Александра II, при строгом исполнении законов и искреннем стремлении к добру.

Такие люди, как С. С. Манухин, оставались, при стойкости своих убеждений, чуждыми всякой оппозиции, направленной против правительства. Я поэтому нисколько не сомневался, что он отнесется вполне беспристрастно к событиям в Минске.

Так оно и случилось. На его вопрос, что произошло в Минске, я, прежде чем рассказать ему все по порядку, попросил его ознакомиться с ценным документом, находившимся у меня в руках. И я передал ему известное уже письмо ко мне прокурора Бибикова, запечатанное казенной печатью. Манухин внимательно прочитал его и сказал:

— Но ведь это поступок сумасшедшего. Ваш доклад уже излишен. Я пошлю Бибикова лечиться за границу.

Этим кончился наш разговор, и никто более не требовал у меня „об'яснений". Я так и не мог доискаться причин, заставивших вызвать меня в Петербург.

П. Н. Дурново продержал меня здесь еще несколько дней и при моем от'езде в Минск дал мне несколько общих указаний о том, как придерживаться в своей деятельности духа манифеста 17 октября.

ГЛАВА IV.

В Минск я вернулся в момент почтовой забастовки. Положение было очень тревожное, тем более, что местное чиновничество, для которого перемена губернатора являлась, даже и в это тяжелое время, событием первостепенной важности, было уверено, что назад я губернатором уже не вернусь. Бибиков, уезжая из Минска, хвастал перед лицами, собравшимися проводить его, что он привезет меня из Петербурга и посадит в тюрьму.

Мое возвращение поразило либеральничающих чиновников, как гром среди ясного неба, и они не скупились наперерыв выражать мне свою преданность, которая внезапно расцвела в их сердцах.

На следующий день оба начальника местных отдельных учреждений появились у меня в вицмундирах—пиджаки моментально исчезли. Первый из них, председатель казенной палаты Ястрембский, то и дело восхищался моей твердостью, второй—управляющий акцизным округом Дьяков—сообщил, что приказал своим чиновникам выписать и читать „Свет". Я не могу пройти молчанием эти на первый взгляд курьезные мелочи, так как они показывают, как мало были устойчивы местные чиновники, занимавшие высшие посты в губернии, на которых должна была опереться, в случае надобности, власть. Чиновничество, принадлежавшее к кадетской партии, считало нравственно допустимым получать от правительства содержание и, в то же время, делать ему оппозицию.

Несколько дней спустя из Петербурга стали поступать телеграммы с точными указаниями политики, которой следует держаться, именно: ни в каком случае не допускать нарушения порядка и положить во что бы то ни стало конец почтовой забастовке, причем те, кто не желает опять стать на работу, должны подать в отставку и очистить казенные квартиры. Твердость этих приказов оказала моментальное действие и о каких-нибудь противоправительственных демонстрациях не было больше речи.

Но подпольная работа революционеров не прекратилась. Под экипаж полицеймейстера, ехавшего ко мне с докладом, была брошена бомба, к счастью, не разорвавшаяся; а несколько дней после этого я был испуган внезапным, без доклада, по-

явлением одного из приставов, остановившегося в дверях и проговорившего: „Ваше превосходительство, в меня только что стреляли, и я ранен". Затем он моментально исчез. Я бросился к телефону, позвонил полицеймейстеру и узнал, что в то время, как этот пристав ехал ко мне, в него стреляли, и несколько пуль попало ему в спину. От меня он прямо поехал в больницу, где обнаружилось, что одна пуля попала ему в почку, так что спустя несколько часов он умер.

14-го января 1906 года в меня была брошена вторая бомба. Я присутствовал в соборе на панихиде по умершем начальнике дивизии. По окончании службы я вместе с другими начальствующими лицами вынес гроб из церкви и поставил его на колесницу. Позади меня стоял с крестом в руках преосвященный Михаил, епископ минский, вместе с прочим духовенством. Вдруг я почувствовал легкий удар в голову, на который не обратил внимания, думая, что вследствие оттепели на меня упал с крыши небольшой комок снега. Ко мне подбежал правитель канцелярии губернатора со словами: „Ваше превосходительство, бомба". Я посмотрел вниз и увидел у моих ног четырехугольный сверток, завернутый в серую бумагу. Полицеймейстер попросил меня сесть в экипаж и уехать домой, что я и сделал. Несколько минут спустя, он явился ко мне на квартиру и донес, что немедленно после моего отъезда какая-то дама произвела несколько выстрелов из браунинга, причем он и чиновник особых поручений почувствовали, как пули скользнули по воротникам их мундиров. К счастью, эти выстрелы никому не причинили вреда.

Одновременно мне сообщили, что целый казачий полк, узнав о покушении на меня, поскакал галопом в город без офицеров, чтобы посчитаться с ре-

волюционерами. Попытки офицеров задержать людей остались безрезультатными и только тогда, когда я выслал им навстречу начальника дежурной части корнета Обухова с приказанием вернуться в казармы и не нарушать порядка, полк исполнил мою просьбу. Таким образом, внимание, оказанное мною умершему офицеру тем, что я присутствовал на его похоронах, спасло город от эксцессов, угрожавших ему со стороны казаков.

Преступник, бросивший в меня бомбу, оказался некиим Пулиховым, а дама, стрелявшая из револьвера—дочерью начальника артиллерии IV армейского корпуса, Измайлович. Оба были арестованы.

Расследование показало, что Пулихов бросил бомбу вверх для того, чтобы, падая вниз с высоты, она ударилась о землю и разорвалась, но она, ударившись о мою голову, медленно соскользнула по рукаву и тихо упала к моим ногам, не разорвавшись. Так как у нас не было специалистов для ее разряжения, то мы положили ее на костер, воздвигнутый посреди площади между домом губернатора и собором, и зажгли его. Взрыв был так силен, что в прилегающих улицах лопнули стекла во всех домах.

Через несколько дней оба преступника были приговорены военным судом к смертной казни, несмотря на то, что я указал председателям этих судов, что смертная казнь нежелательна, так как в обоих этих случаях было лишь покушение на убийство. Командующий войсками виленского военного округа заменил для Измайлович смертную казнь каторжными работами, а в отношении Пулихова утвердил приговор суда.

В виду этих событий, а также в виду того, что в Минске продолжалось революционное движение, меня вновь вызвал в Петербург для доклада ми-

нистр внутренних дел. Я был этому очень рад, так как в ближайшем будущем мои об'яснения относительно происшествий 18-го октября могли понадобиться при разборе этого дела в правительствующем сенате.

При моем свидании с П. Н. Дурново, он мне сказал, что меня желает видеть председатель совета министров С. Ю. Витте.

— Вы встретите в нем,—сказал он мне,—сочувствие своим взглядам на еврейский вопрос, хотя я совершенно несогласен с вашими соображениями, представленными генералу Трепову, относительно необходимости дать евреям равноправие.

Я ответил, что после оценки моей личности, сделанной графом Витте минской депутации, я не хотел бы итти к нему, и сделаю это только в том случае, если получу прямое приказание на этот счет от моего начальства.

— Ну, так я вам приказываю это,—проговорил Дурново, улыбаясь.

На следующий день я был у графа Витте и познакомился с ним.

Граф Витте был несомненно большой знаток железнодорожного и тарифного дела. Он считался также крупным финансистом, и обстоятельства сделали его главой правительства. Мне кажется, что в этом отношении граф Витте далеко не оправдал возлагавшихся на него надежд. Как хороший знаток финансов, он оказал России большие услуги в смысле увеличения государственных доходов, необходимых для покрытия неотложных потребностей возрождающейся экономической жизни страны; но, несмотря на свой выдающийся ум, он оказался, благодаря своей прошлой службе, дилеттантом в вопросах внутренней политики, так как ему не доставало соответствующей подготовки. Все его начина-

ния на поприще государственного устройства не принесли, несмотря на лучшие побуждения, никакой пользы.

Он учредил фабричную инспекцию, исходя из тех соображений, что этот институт будет регулировать рабочий вопрос, начинавший принимать все более и более острые формы. Он полагал, что фабричные инспектора явятся посредниками между владельцами фабрик и рабочими. На практике же одна часть этих инспекторов сразу стала на сторону владельцев фабрик и моментально потеряла всякий авторитет в глазах рабочих, другая часть инспекторов, склонявшаяся на сторону рабочих, занялась революционной деятельностью.

Ни те, ни другие не понимали своей задачи; они не понимали даже того, что русский человек быстро разбирается в качествах поставленных ему в начальники лиц, что он очень ценит справедливость и что не уважает начальства, которое относится к нему несерьезно.

Точно также и сельско-хозяйственные комитеты не достигли своей цели, так как либеральная часть общества, работавшая в них, усматривала в них нечто вроде парламента.

В качестве курского вице-губернатора я должен был принять участие в работе одного такого комитета, причем имел возможность убедиться в правильности высказанного мной здесь взгляда. Накануне открытия собраний вождь его левой партии в частной беседе навел своих единомышленников на мысль отказаться от всякого участия в работе комитета в виду того, что последнему не предоставлено никаких законодательных прав. При открытии заседания он обратился к губернатору, как к председателю, с просьбой разрешить ему сделать заявление, и изложил только что сказанное, доба-

вив, что настоящее заявление подписано всеми присутствующими здесь членами, между прочим, и представителями особенно сильной в Курске консервативной партии. Возражений не было, и комитету грозил форменный провал. Губернатор растерялся и обратился за поддержкой ко мне. Я попросил слова, выяснил значение подобных комитетов вообще и надежды, возлагаемые правительством на них, и кончил свою речь указанием, что правительство рассчитывает в таком волнующем вопросе на помощь местных сил. Поэтому недопустим отказ от работы в организациях, имеющих для крестьянского населения столь важное значение, тем более, что высшая власть может только таким путем узнавать мнения местных руководящих слоев.

Мои простые, искренние слова произвели неожиданный эффект: один из уездных предводителей дворянства, князь Касаткин-Ростовский, честный и прямой человек, пользовавшийся всеобщим уважением, заявил, что все они были введены накануне в заблуждение и что, после сделанного мною разъяснения, он не считает возможным уклониться от намеченной работы. Комитет единогласно поддержал мнение Касаткина-Ростовского, и вождь либеральной партии, покинутый даже своими единомышленниками, должен был оставить зал заседания.

Я глубоко убежден, что манифест 17-го октября страдал таким же дилеттантизмом и плохим знанием русской действительности. Не подлежит никакому сомнению, что невозможно было сделать этот манифест популярным, не разработав в деталях те законы, которые он обещал. Своею формой манифест должен был вызывать сомнения, следствием которых явилось восстание 1905 года. Он не обладал безусловной ясностью, в то время, как высочайше утвержденный комментирующий его доклад

графа Витте имел чисто теоретический характер и не содержал никаких реальных, жизненных указаний.

Граф Витте любезно встретил меня и сказал, что ему очень приятно со мной познакомиться.

— Вас вероятно удивило,—сказал он,—мое настойчивое желание вас видеть, о чем я говорил П. Н. Дурново. Я хотел извиниться перед вами за мой отзыв о вас; ознакомившись с делом, я пришел к заключению, что правительство должно вам быть благодарно. Вы предупредили в Минской губернии все эксцессы.

В дальнейшей беседе Витте остановился на затронутом мной в письме к генералу Трепову вопросе о равноправии евреев и выразил свой взгляд на него в следующих словах:

— Мы не можем утопить всех евреев в Черном море, и, так как они составляют часть населения России и являются ее подданными, то все ограничения их, не имеющие никакого практического результата, прямо вредны: они вызывают постоянное возбуждение против правительства со стороны этого умного, способного и сильного своим экономическим положением народа. Но мне кажется, что предложенные вами меры не будут иметь успеха.

Во время моего пребывания в Петербурге счастливо окончилось мое дело в правительствующем сенате, и я имел аудиенцию у государя.

Моя дальнейшая служба в Минске не связана с какими-нибудь особенными обстоятельствами. Я должен заявить, что в Минской губернии не было разгромлено ни одного имения и порядок больше не нарушался. Угрожавший городу в мае месяце еврейский погром был предотвращен.

Еврейские погромы составляют только некоторую часть всего вопроса о положении евреев в России. На практике я прямо сталкивался с ним только в Минске. Так же близко я соприкасался здесь и с другими вопросами, именно, с польским и тесно связанным с ним—католическим.

Прослужив всю свою жизнь в Центральной России, я имел об этих вопросах лишь общее понятие, основанное на сообщениях прессы и распространенных в публике сведениях. Я не имел возможности серьезно ознакомиться с ними, и мне не пришлось лично участвовать на практике в их разрешении. В Минске я столкнулся с действительной жизнью.

С первого дня моей службы в качестве минского губернатора ко мне обращались сотни лиц с вопросами о праве жительства.

Хотя Минская губерния находилась в черте оседлости, но ограничения права жительства постоянно волновали проживавших в ней евреев, принужденных или временно уезжать, или совсем выселяться из нее. В особенно тяжелом положении находились те родители, дети которых обучались в высших учебных заведениях или специальных институтах. Бывали такие случаи, что родители имели право жительства в столицах, а дети их этого права не имели. Я понимал все неприятности, связанные с подобным положением дела, но часто не был в состоянии помочь просителям. Я должен был обращаться к петербургскому и московскому градоначальникам или к другим губернаторам с просьбами о послаблениях, насколько они допускались законом.

Совершенно непонятно, чем именно об'яснялось создание особой черты оседлости, границы которой возможно было всегда переступить помощью вся-

ких ухищрений, не говоря уже о том, что даже по закону вне этой черты могли проживать такие лица еврейского происхождения, которые являлись очень опасным элементом.

В тесной связи с этим находилось запрещение евреям проживать, даже в пределах черты оседлости, в сельских местностях. Но практика жизни создала и здесь обход закона. В Минской и других подобных губерниях образовались особые места их поселений, число которых было очень велико. Так как еврейское население жило в них очень скученно, не имея права приобретать землю, то оно занялось исключительно торговлей и ремеслами, которые и сосредоточило в своих руках. Это вызвало неудовольствие и раздражение не-еврейской части населения, которое по своему характеру было неспособно к экономической борьбе с евреями.

В итоге получилось, понятно, враждебное настроение еврейского населения против правительства. Если сюда присоединить еще целый ряд других ограничений, например, затруднения для еврейских детей при поступлении их не только в высшие, но и в средние учебные заведения, то естественно, что евреи должны были охотно присоединяться к противоправительственным партиям. Этим об'ясняется развитие именно в этих местностях революционной партии „Бунд", сыгравшей такую значительную роль в революционном движении 1905 года и в русской революции вообще. Более благоразумная и зажиточная часть еврейского населения участия в этом движении не принимала, но она не была в состоянии удержать от него еврейскую молодежь и вытравить из собственной груди чувство горечи и обиды за ограничения, применявшиеся против них правительством. Последние, помимо обиды и сильного раздражения, имели еще одну

дурную сторону: они, с одной стороны, оказывали отвратительное в нравственном отношении влияние на власти, в руках которых находились еврейские дела, и, с другой—создавали среди коренного населения враждебное настроение против евреев. Именно в этом нужно, по моему, искать одну из главных причин еврейских погромов и с этой точки зрения можно говорить и об „участии в них" правительства.

Что касается враждебного отношения к еврейскому населению, то не могу удержаться, чтобы не рассказать несколько характерных случаев из этой области.

Вскоре после моего приезда в Минск, ко мне однажды ночью явилась депутация местных уважаемых евреев с просьбой принять их, несмотря на поздний час, в виду неотложности их дела. Оказалось, что минское городское самоуправление, состоявшее главным образом из поляков, решило продолжить одну из улиц, упиравшуюся в еврейское кладбище. Местный раввин обратился с просьбой к городскому голове не производить этих работ, так так по еврейскому закону останки погребенных могут быть переносимы на другое место только после известной церемонии, которой городской голова Волович ни в коем случае разрешить не хотел. Я приказал приостановить эти работы и продолжить их только тогда, когда мне будет доложено, что все религиозные требования евреев исполнены.

Еще более характерным, не лишенным, впрочем, некоторого комизма, является другой случай, бывший следствием недоразумения, происшедшего с евреями у представителей местной власти в Киеве.

Дело было вот в чем. После полтавских торжеств царь должен был проехать через Киев, где на вокзале был назначен прием должностных лиц и представителей общественных групп, среди кото-

рых находились также и представители еврейского населения. Я приехал в Киев за полтора часа до прибытия царя. На перроне собрались уже все лица, которые должны были представиться царю. Выйдя из вагона, я остановился у группы чиновников министерства юстиции. Ко мне подошел сильно взволнованный киевский генерал-губернатор, генерал Трепов.

—Согласно церемониала,—сказал он,—представители еврейского общества должны быть представлены последними: они должны поэтому стать в самом конце перрона, но там место не позволяет поставить их в одну линию с прочими, так что им придется стать в правом углу по отношению к прибывающему поезду. Но представители правых партий просят меня не ставить здесь евреев. Я не хочу изменять церемониала и потому очень прошу вас помочь мне в этом.

Немедленно после этого ко мне подошел сотрудник „Киевлянина" А. И. Савенко, принадлежавший тогда к крайним правым и под их флагом прошедший в Думу, где он стал потом видным членом прогрессивного блока. Он стал жаловаться мне на распоряжение Трепова, о котором тот только что говорил со мной, и просил меня совсем удалить евреев с перрона. Я категорически отклонил эту просьбу, считая ее совершенно неосновательной.

Ознакомившись на практике с положением еврейского вопроса, я пришел к заключению, что политика правительства относительно его нецелесообразна и ведет только к отрицательным результатам. Относительно этого я обратился с оффициальным докладом к генералу Трепову, бывшему тогда, в качестве товарища министра внутренних дел, главою полиции в государстве, и указывал в нем на необходимость дать евреям равноправие.

В подобном же положении оказались, при практическом знакомстве с ними, и отношения правительства к польскому и католическому вопросам.

Нужно заметить, что ограничения, касающиеся поляков, также не всегда основывались на законах. Очень часто здесь руководствовались циркулярами прежнего виленского генерал-губернатора графа Муравьева, хотя Минская губерния в это время уже не принадлежала больше к району этого генерал-губернаторства.

Прежде всего, правительство в своих действиях исходило из того неправильного взгляда, будто все лица римско-католического вероисповедания — поляки, между тем как среди католиков было немало белоруссов, которые с поляками не имели ничего общего и даже относились к ним враждебно. Поэтому запрещение уличных католических процессий вызвало недовольствие и этой части населения, которую ни в коем случае нельзя было считать настроенной против правительства. Очевидно, из тех же соображений было запрещено открытие католических школ, следствием чего явилась отсылка белорусской молодежи в специально для этой цели основанные католические школы в Австрии, где молодежь эта, конечно, не воспитывалась в духе любви к России.

Нельзя сказать, чтобы указанные здесь ограничения проводились систематически, но более или менее строгое применение их всегда зависело от усмотрения лиц, стоявших во главе центрального управления министерства внутренних дел, или от взглядов местных губернаторов.

Так, мне было предписано закрыть пришедшую в ветхость римско-католическую церковь. Приказ об этом был дан уже за четверть столетия до моего назначения, но он до сих пор не был исполнен.

Этот приказ вызвал почти вооруженное столкновение с местным католическим населением, и только благодаря такту местного католического декана Михалкевича, всегда с симпатией относившегося к русским и, особенно, к представителям власти, дело обошлось без человеческих жертв. Декан этот был выдающийся, умный человек, глубоко религиозный, и имел огромное влияние на свою паству.

Второй подобный случай разыгрался по поводу так называемых „бандерий", заключавшихся в том, что католического епископа во время его об'ездов епархии сопровождала толпа местных жителей верхом и в национальных костюмах. Со стороны центральной власти последовало запрещение этих эскортов, запрещение, оснований которого я не понимаю до сих пор, но последствием которого было то, что виленский католический епископ, барон Ропп, не желавший подчиниться, должен был уйти со своего поста.

Обыкновенно Минск не был резиденцией епископа, так как последний был одновременно митрополитом всех католических церквей России и проживал в Петербурге. В мое время этот пост занимал кардинал граф Шембек, по происхождению венгерец, переехавший надолго в Минск вскоре после моего назначения туда губернатором. Мое знакомство с этим епископом, человеком очень умным и бывалым, принадлежит к числу наиболее приятных, и я поэтому попал в очень скверное положение, когда получил из Петербурга категорическое приказание ни в каком случае не допускать „бандерий" во вверенной мне губернии. Не исполнить этого приказания я не мог, но, с другой стороны, я также не хотел входить в конфликт с графом, что было для меня тем более нежелательно, что лично я был против этого приказания. К моему

удовольствию, мне легко удалось выйти из этого положения. Граф Шембек посетил меня накануне своей поездки по епархии. В беседе я спросил его, как бы мимоходом, в чем собственно заключаются эти „бандерии“ и после его об'яснения сейчас же перешел на другую тему, чтобы не показать, что я придаю этому вопросу особенное значение. При расставании с ним я высказал опасение, что в настоящее тревожное время он при своих раз'ездах может легко подвергнуться всяким неприятностям, и поэтому я, в виду огромного стечения народа вокруг него, желал бы для ограждения его назначить ему в виде эскорта полусотню казаков. Граф улыбнулся и ничего не сказал. Но на следующий день я узнал, что он уехал в епархию совершенно один и что и потом во всех его поездках его не сопровождал ни один человек.

Насколько отношение к польскому вопросу в центре зависело от личностей и политического направления верхов, показывают следующие эпизоды

В Минск прибыла польская опереточная труппа, дирекции которой я разрешил дать несколько представлений на польском языке, причем мне и в голову не приходило, что разрешение это незаконно. Вскоре после этого я был в Петербурге, и генерал Трепов при встрече со мной показал мне нумер газеты, где описывалось торжество первого представления на польском языке. В резкой форме он спросил меня, что заставило меня разрешить представление польской труппе. Я возразил, что и он, Трепов, разрешил в качестве московского оберполицеймейстера артистке Кавецкой петь песни на польском языке, на что Трепов неожиданно заметил мне, что то другое дело, потому что Москва русский город. Я должен был довести до сведения моего начальства, что считал и Минск русским горо-

дом и что ни в законе, ни в циркулярах графа Муравьева не содержится подобных запрещений.

Следствием подобной политики было то, что польское население, если и не относилось так враждебно к правительству, как еврейское, все-таки другом его не было, между тем как католическое духовенство, имевшее колоссальное влияние на свою паству, могло бы при других условиях явиться важной поддержкой для власти и быть ей полезным.

Я никогда не забуду сцены от'езда графа Шембека, по выслуге им лет, из римско-католической церкви, находившейся рядом с моим домом. Когда епископ показался в дверях церкви, вся толпа, наполнявшая площадь, как один человек, упала на колени и встала не раньше, чем епископская коляска скрылась из глаз. Рядом с простым народом на коленях стояли элегантные дамы в дорогих туалетах, не обращая внимания на грязь и пыль, покрывавшие землю.

Религиозные ограничения были отменены манифестом 17-го октября. Было вполне естественно, что католики употребили все меры с целью придать первым процессиям своим на улицах города возможно более торжественный характер. Но одна из первых подобных процессий в Белостоке окончилась еврейским погромом. Я не имею в виду распространяться о нем, так как он подробно был в свое время описан в газетах, и упоминаю о нем только потому, что, несколько дней спустя, в Минске едва не разыгралась такая же история.

Дело в том, что в том году православный праздник воссоединения униатов и католический праздник тела Господня пришлись в один день. Опасаясь повторения белостокского погрома, я говорил с минским епископом Михаилом и католическим деканом Михалкевичем о предстоящих процессиях

и высказал свои опасения по поводу их. Епископ Михаил обещал подумать об этом, а Михалкевич отправился в Петербург, чтобы выяснить положение дела, и вернулся оттуда с известием, что в Петербурге ничего не имеют против процессий и что я получу на этот счет соответствующее распоряжение. Действительно, спустя несколько дней я получил телеграмму министра внутренних дел с предписанием не препятствовать устройству католических процессий. Между тем в городе начали циркулировать упорные слухи о предстоящем еврейском погроме, допустить который я, конечно, ни в коем случае не мог. Епископ Михаил согласился ограничить процессию тем, чтобы обойти один раз вокруг собора, что с своей стороны решил сделать и патер Михалкевич в костеле. Помимо этого были приняты и все полицейские меры для поддержания порядка. Накануне вечером ко мне явилась еврейская депутация и от имени своих единоверцев, собравшихся в синагоге, говорила о готовящемся погроме и просила принять меры к недопущению его. „Мы знаем, закончили депутаты, что если вы нам обещаете, что погрома не будет, то евреи совершенно успокоятся, потому что мы привыкли верить вашему слову".

Я сказал им, что ни в каком случае не допущу беспорядков в городе, и просил депутацию передать мои слова евреям, собравшимся в синагоге. Слава Богу, следующий день прошел вполне благополучно.

И теперь еще я вполне уверен, что погромы невозможны, если население привыкло доверять власти.

Со временем моего пребывания в Минской губернии совпало открытие первой Государственной Думы, противоправительственная деятельность кото-

рой так взволновала провинцию. Острые нападки на представителей правительства, знаменитое требование кадета Набокова „власть исполнительная да подчинится власти законодательной", затем убийство главного военного прокурора генерала Павлова, явившееся следствием прямого подстрекательства со стороны Думы—все это произвело переполох среди чиновничества, еще не успевшего успокоиться после манифеста 17 октября.

Министром внутренних дел был назначен П. А. Столыпин, которого я до этого времени совсем не знал и никогда не видел. В Нижнем-Новгороде освободился пост губернатора, но несмотря на то, что Дурново твердо обещал это место дать мне, оно было отдано другому. Я счел оскорбительным для себя такое отношение и подал в отставку, причем перед этим испросил себе отпуск. Уйти окончательно я не мог, так как был камергером двора его императорского величества.

Я получил просимый отпуск и отправился в Петербург.

ГЛАВА V.

В Петербурге я встретил не только тревожное, но и близкое к растерянности настроение, как в обществе, так и в правительственных сферах, с которыми мне пришлось иметь дело. С большим волнением обсуждали поведение некоторых членов Думы, которые во время представления царю вели себя в высшей степени некорректно. Точно также явилась большой неожиданностью для правительства и самая физиономия Думы. В противоположность парламентским обычаям всех стран, правительство не принимало никакого участия в выборах в Думу,

и агенты его являлись на местах лишь посредствующей инстанцией, которая сообщала центральной власти об избранных в члены Думы гражданах.

Поведение Думы с первых же дней вышло из границ даже простого приличия, причем левые партии превратили думскую трибуну в кафедру противоправительственной и даже революционной пропаганды. Бюрократия потеряла голову, и из ее ответов на запросы Думы видно было или полнейшее отсутствие каких-либо убеждений, или угодничанье перед новым „начальством".

Царь оставался спокойным. С полной искренностью он даровал стране манифест 17 октября и от всей души желал новому учреждению успеха в его деятельности на благо России. Председатель совета министров И. Л. Горемыкин, поседевший на государственной службе, не был оптимистом и не питал никаких иллюзий насчет того, что работа Думы наладится. Мало-по-малу стали раздаваться голоса о необходимости роспуска Думы. Вначале голоса эти были одиноки и звучали неуверенно. Большинство населения с ужасом ожидало, что роспуск Думы неминуемо повлечет за собой революцию. Я припоминаю свой разговор вечером накануне роспуска с некоторыми видными членами Государственного Совета, которые уверяли меня, что о роспуске Думы не может быть и речи, если не желают поставить Россию на край гибели.

Говоря об этом, я не могу не вспомнить странной особенности этой Думы, которая замечалась и у всех последующих Дум. Дело в том, что правительство в отношении их действовало само против себя, отказавшись совершенно открыто от своего права законодательства. Государственная Дума не имела права обсуждать основные законы, не говоря уже об изменении их. На практике же полу-

чалось нечто совсем другое, несмотря на присутствие представителей правительства: в речах депутатов слышалось не желание, а требование таких изменений. Далее, уголовный закон налагал, как известно, наказание за принадлежность к партиям, программа которых предусматривала изменение государственного строя России. Некоторые же партии были не только нелегализированы, но даже прямо преступны. Между тем в Думе они считались как бы легальными, что было особенно непоследовательно, если принять во внимание широкую безответственность членов Думы за речи, произносимые с высоты думской трибуны. Получалось совершенно нелепое положение: члены революционных партий привлекались к судебной ответственности за свои речи, содержавшие изложение программы их партий, между тем как члены Государственной Думы, открыто заявлявшие себя членами этих же партий, за такие же и даже более резкие речи никакой ответственности не подвергались.

Если такая неопределенность положения причиняла затруднения даже правительству, то на общество, не подготовленное к политической жизни, она должна была влиять особенно вредно. Но вреднее всего, конечно, это должно было отражаться на простых народных массах, которые о вопросах государственных не имели никакого представления. Для них это являлось пропагандой революции с согласия или даже с помощью правительства, авторитет которого совершенно упал, благодаря постоянным нападкам на высших представителей власти. В конце концов нужно было решиться на одно из двух: или легализировать эти партии, или же сделать совершенно невозможным их участие в Думе: ведь нельзя же допускать в одном госу-

дарстве одновременное существование таках взаимно исключающих друг друга сил.

Горемыкин должен был придти к заключению, что подобное положение государства ведет его к полному краху. Как решительный человек, он начал доказывать царю всю недопустимость подобного состояния власти, и ему в конце концов удалось убедить царя в правильности своих взглядов. Когда он отправился к царю с окончательным докладом о необходимости распустить Думу, он взял с собой историческую фамильную икону и, помолившись перед ней в присутствии царя, стал говорить ему о Думе и, в конце концов, убедил его согласиться на роспуск ее. Приказ о роспуске Думы был подписан, и Горемыкин вернулся с ним домой. Были приняты все меры для предупреждения всякого рода случайностей, но Геремыкин все еще боялся, чтобы царь не отменил своего решения. Поэтому он отважился на следующий смелый поступок: он приказал, в виду якобы своего крайнего переутомления, ни в каком случае не будить себя, даже тогда, если за ним пришлют из дворца. И действительно, за ним прислали из дворца, но никто не решился нарушить его приказание.

Этот честный слуга спас государство в тяжелую минуту, но должен был заплатить за это потерей своего поста. Ему на смену был назначен П. А. Столыпин.

Дума была распущена, и однако предсказания потерявших голову бюрократов не оправдались. Роспуск имел своим последствием только известную фразу тогдашнего председателя Муромцева: „Заседание Думы продолжается“, которую он произнес, когда „Выборгское воззвание“ заставило говорить о себе всех. Этот исторический документ является лучшей характеристикой политического настроени-

и патриотизма первой гударственной Думы, постановившей не давать армии рекрутов и не платить казне никаких налогов. Население, впрочем, совершенно не реагировало на это воззвание; некоторое же незначительное брожение в столице и в окрестностях было легко подавлено без пролития единой капли крови.

Я в то время не занимал никакой должности и потому летом 1906 года отправился за границу. В Париже я узнал о взрыве на Аптекарском острове. По моему, это был террористический акт, направленный против главы правительства, а не лично против Столыпина, которому суждено было взять на свои плечи тяжелое наследие двух предшествующих годов.

Этот революционный акт был задуман широко и хорошо организован в смысле подготовки и числа участников. Сами террористы шли на верную смерть и, как выяснилось, нисколько не считались с числом возможных жертв. Розыскные органы показали себя не на высоте своей задачи и не сумели предотвратить это покушение. Семья Столыпина тяжко пострадала, и первые шаги этого выдающегося государственного деятеля потребовали от него особенной твердости и самопожертвования. Но революционеры не испугали министра, вступившего в открытый бой с надвигавшимся мятежем.

Я вернулся из-за границы и, так как я был причислен к министерству внутренних дел, то явился к Столыпину. Это было мое первое знакомство с этим незабвенным человеком. Я нашел его в служебной половине Зимнего Дворца, куда он переехал с семьей после взрыва на Аптекарском Острове.

Меня встретил мужчина высокого роста, с открытым симпатичным лицом и приятными глазами, в которых светились ум и энергия. Его первые слова ко мне прозвучали упреком:

— Вы доставили мне,—сказал он,—несколько неприятных минут. Царь слушать не хотел, когда я доложил ему о вашей отставке, и я должен был сказать ему, что ваше желание неизменно и что вы теперь в отпуску. Я много слышал о вас, и хотя вижу вас в первый раз, но очень ценю вашу службу и не могу допустить, чтобы вы оставили ее навсегда. Что заставило вас оставить пост минского губернатора?

Я поблагодарил министра за лестное обо мне мнение и сказал, что причиной было неисполнение его предшественником Дурново своего обещания предоставить мне место нижегородского губернатора, как только оно станет вакантным.

— Я об этом ничего не знал,—сказал Столыпин,—и удивляюсь, как смели мне этого не доложить. Я не хочу лишить себя вашего сотрудничества. Теперь много работы, и я прошу вас принять назначение в члены совета министра внутренних дел. Я имею для вас несколько командировок, пока для вас найдется что-нибудь подходящее. Что бы вы желали иметь?

Я сказал, что с удовольствием взял бы пост петербургского или московского градоначальника. Я расстался с Столыпиным под обаятельным влиянием его личности, влиянием, которое я испытывал на себе в течение всей моей службы с ним и которое сохранилось после его трагической кончины неизгладимым воспоминанием на всю жизнь.

Несколько дней спустя я был назначен членом совета министра внутренних дел.

Через некоторое время в Шенкурском уезде Архангельской губернии возникли серьезные крестьянские беспорядки, вызванные притязаниями крестьян на часть удельных имений и выразившиеся в ряде насильственных действий против чиновни-

ков удельного ведомства. Столыпин поручил мне расследовать это дело, с которым я должел был ознакомиться вчерне еще в Петербурге, в главном управлении уделов. Начальник его, генерал граф Кочубей, созвал у себя по этому поводу маленькое совещание, во время которого ознакомил меня с подробностями крестьянских требований. Я вынес впечатление, что требования эти справедливы, так как часть удельных имуществ принадлежала фактически крестьянам.

Под этим впечатлением я несколько дней спустя уехал в Архангельск. Здесь я просмотрел в присутствии губернатора Кагалова, чиновников удельного ведомства и представителей крестьян все документы, на которых последние основывали свои притязания. Мое предположение о правильности их подтвердилось, и я предложил архангельскому губернатору об'яснить крестьянами, что правительство вскоре рассмотрит их дело, и одновременно внушить им, чтобы они оставались спокойными и ждали окончательного решения.

В этом смысле я сделал по своем возвращении в Петербург доклад, и притязания шенкурских крестьян были удовлетворены.

ГЛАВА VI.

Некоторое время спустя после возвращения из Архангельска, а именно 6-го декабря, в ту минуту, когда я готовился ехать в собор на богослужение и молебствие по случаю дня именин государя-императора, я неожиданно получил приглашение от Столыпина приехать к нему немедленно, несмотря на царский день. Я поспешил исполнить желание министра и он предложил мне место киевского гу-

бернатора. Я сказал ему, что был губернатором самостоятельной губернии и не хотел бы сделаться губернатором в генерал-губернаторстве, хотя киевский генерал-губернатор генерал Сухомлинов знает меня лично и хорошо относится ко мне. Знакомство наше началось с 1878 года, когда Сухомлинов, тогда еще полковник, был моим преподавателем тактики в Николаевском кавалерийском училище и командиром взвода, в котором я, как старший юнкер, давал уроки верховой езды.

— Киевский генерал-губернатор с своей стороны подтверждает хорошие отношения между вами и просит о вашем назначении,—сказал Столыпин, и показал мне телеграмму из Киева.

Это замечание заставило меня призадуматься, и я сознался в этом министру.

— Дело в том,—сказал последний,—что между генералом Сухомлиновым и киевским губернатором генералом Веретенниковым уже с давних пор существуют трения. Генерал Веретенников открыто примкнул к правым партиям, стал партийным и ведет себя по отношению к Сухомлинову, которого правые партии называют другом евреев, в высшей степени бестактно. Из-за выборов во II-ую Думу отношения между ними очень обострились, и дело дошло до открытых столкновений. Генерал Сухомлинов довел об этом до моего сведения и просил меня назначить губернатором в Киев председателя губернского сельско-хозяйственного комитета графа П. Н. Игнатьева. Я ответил ему, что считаю Игнатьева слишком молодым и неопытным—особенно для настоящего момента и, пожалуй, был бы согласен с этим назначением, но только по окончании выборов в Думу. Моя личная просьба к вам, о которой я уже доложил царю и получил его согласие, заключается в том, чтобы вы приняли пост киев-

ского губернатора, причем вы с высочайшего соизволения будете продолжать числиться членом совета министра внутренних дел. Вы не имеете права отказываться от этого предложения, и потому я очень прошу вас отправиться немедленно в Киев. Высочайший приказ последует завтра. Особых инструкций и для вас не имею, так как убежден, что вы сами хорошо справитесь с ответственным вашим назначением.

Я поблагодарил министра за его доверие и позволил себе напомнить ему иметь меня в виду в случае освобождения поста петербургского градоначальника, так как в это время распространились по городу слухи, будто генерал фон-де Лауниц собирается выйти в отставку. Столыпин обещал мне это и подтвердил слух о предстоящей отставке фон-дер-Лауница.

Несколько дней спустя я уехал в Киев. Встретивший меня на вокзале вице-губернатор Чигаев сообщил мне, что генерал Сухомлинов живет в доме командующего войсками, а меня просит поселиться в генерал-губернаторском доме, где все готово для моего прибытия. У него сегодня как раз смотр войскам, и он просит меня к завтраку. Я сказал, что принимаю предложение генерал-губернатора и в сопровождении взятого мной из Петербурга чиновника особых поручений Н. А. Севергина направился в генерал-губернаторский дом. До завтрака оставалось два часа и потому я поехал к генералу Веретенникову.

Несмотря на щекотливость положения, генерал Веретенников принял меня с обворожительной любезностью. Он высказал свою радость, что во время выборов его место займет хорошо осведомленный человек, так что он может быть спокоен за будущность русского дела в Киеве, хотя он нисколько

не сомневается, что высшее начальство края мне будет ставить немало палок в колеса.

Я ответил ему, что, зная издавна генерала Сухомлинова, считаю его истинно-русским человеком, глубоко преданным царю. Будучи убежденным правым, я, тем не менее, думаю, что губернатор не может заниматься какой бы то ни было политикой—даже консервативной—и потому вполне уверен, что у меня не будет никаких конфликтов с генерал-губернатором. Эти слова немного охладили воодушевление генерала Веретенникова, который все же посоветовал мне прежде всего посетить епископа Платона, стоявшего во главе местных правых организаций и считавшегося их кандидатом в члены Думы. Я ответил, что считаю своей обязанностью после того, как побываю у митрополита Флавиана, посетить епископа, тем более, что я имел намерение в первый же день познакомиться со всем высшим местным духовенством.

Условившись затем с генералом Веретенниковым, что он сегодня же в приказе дня об'явит о сложении с себя обязанностей губернатора, а я—о вступлении в должность, я отправился к генералу Сухомлинову.

Прием был любезный и соответствовал тем добрым старым отношениям, которые всегда сохранялись между офицерами и юнкерами Николаевского кавалерийского училища. За завтраком, кроме моего чиновника особых поручений Н. А. Севергина, присутствовал еще состоявший при командующем войсками подполковник Ронжин, бывший в последней войне начальником военных сообщений при главнокомандующем.

К моему удивлению, я не заметил в генерале Сухомлинове никакого раздражения против генерала Веретенникова: он говорил о нем с добро-

душным юмором и рассказал мне несколько действительно бестолковых поступков его, прибавив, что знает давно ультра-правый образ мыслей генерала Веретенникова, которого за его противоправительственные выступления в петербургской городской думе, где он, офицер действительной службы, состоял городским гласным, во времена Плеве давно сослали бы в Ташкент. Но он к нему серьезно не относится.

— Надеюсь,—закончил он,—что вы сумеете поставить в надлежащие рамки непозволительное, по моему мнению, поведение крайних правых партий.

Я сказал, что хотя я по своему образу мыслей правый, но в качестве губернатора считаю для себя недопустимым принимать активное участие в каких бы то ни было партиях. Я буду поддерживать правые партии в интересах правительства, но ни в коем случае не допущу с их стороны нарушения спокойствия и порядка. Здесь генерал Сухомлинов прервал меня словами:

— Мне кажется, вам уже сегодня придется начать это. Правые партии крайне озлоблены против меня вследствие ухода генерала Веретенникова, но ваше назначение немного успокоило их, и они хотят особенно подчеркнуть то и другое в затеваемой сегодня демонстрации. Если она состоится, то будет, конечно, носить несхожий характер в отношении нас обоих.

Я тотчас же послал Севергина к генералу Жукову, который пользовался у правых партий, в качестве церковного старосты владимирского собора, огромным влиянием, и просил его пожаловать ко мне. Вместе с ним прибыли ко мне некий Розмитальский и еще какой-то представитель правых партий. Мне удалось добиться от них обещания, что не будет устроено никаких демонстраций.

Мои дальнейшие сношения с ними были затруднены, во время пребывания в городе генерала Веретенникова, настолько, что между нами произошел почти полный разрыв. В день, когда Веретенников уезжал из Киева, полицеймейстер донес мне, что правые партии готовят ему торжественные проводы, и когда я заметил, что у меня нет ни малейшего желания препятствовать этому, полицеймейстер добавил, что по пути генерала Веретенникова на вокзал предполагаются манифестации, которые легко могут перейти в уличные беспорядки и во враждебную демонстрацию против генерал-губернатора.

— Но я не допущу никаких уличных демонстраций как справа, так и слева,—сказал я,—и приказываю вам принять заблаговременно все меры, чтобы им воспрепятствовать.

В то же время я позвонил по телефону генералу Веретенникову и, извинившись, что беспокою его в день от'езда, попросил его пожаловать ко мне. Здесь я рассказал ему о докладе полицеймейстера, об отданном мной приказе и о моем твердом решении не допустить никаких уличных демонстраций. Я просил его устранить своим огромным влиянием возможные, нежелательные для нас с ним и неприятные для правых партий, последствия. Генерал Веретенников, относившийся ко мне явно доброжелательно, очевидно, вследствие сходства наших политических убеждений, обещал мне исполнить мою просьбу. И действительно, при его от'езде на улицах порядок не нарушался, и проводы его и семьи на вокзале, в которых и я принял участие, не сопровождались решительно никакими беспорядками.

В первый же день пребывания в Киеве я посетил митрополита Флавиана и епископов Платона и

Макария. Епископ Платон в беседе со мной не отрицал своих правых убеждений, но заявил, что не желает стать членом Государственной Думы. Он произвел на меня благоприятное впечатление умного, образованного человека с широкими взглядами, чуждого всякому партийному доктринерству.

Во время моего управления Киевской губернией я вторично имел случай придти в соприкосновение с еврейским вопросом. Кроме общих ограничений в правах, с которыми я ознакомился уже в Минске, мне пришлось здесь встретиться с такими особенностями его, которые являлись по меньшей мере удивительными. Так, например, евреи имели право жить на одной стороне улицы, а на другой—нет. Губернатора забрасывали сотнями прошений об устранении или облегчении этих ограничений. Прошения эти доходили до генерал-губернатора, как до высшей в крае инстанции. Еврейские дела сосредоточивались в особом специальном отделе губернского правления. Само собой разумеется, что такие ограничения влекли за собой только обходы законов и создавали почву для взяточничества со стороны низшего служебного персонала и полиции.

Ознакомившись с этим вопросом, я с самого же начала натолкнулся на всевозможные злоупотребления. Я обревизовал губернское правление и результатом этой ревизии явилось увольнение нескольких чиновников. При моем отъезде из Петербурга мне говорили о взяточничестве киевской полиции, но я, к крайнему сожалению своему, не могу утверждать, что мне удалось искоренить его окончательно. Этого можно было бы достигнуть только урегулированием полицейской службы путем особого законодательства, к чему старательно и заботливо стремился Столыпин. Я хочу только ми-

моходом остановиться на деятельности правительства на этом поприще и буду касаться лишь тех обстоятельств, при которых приходилось действовать киевской полиции.

При представлении мне полицейских чиновников я обратился к одному из них с вопросом о числе его ежемесячных входящих и исходящих бумаг—и получил ответ, что общее количество их достигает 4.000. Когда же я опять стал расспрашивать его, как он успевает при такой колоссальной переписке справляться со своей службой, он ответил мне, что нанимает для этого специального секретаря, которому платит такое же жалованье, какое получает сам. Дальнейшие распросы мне показались излишними, как излишни здесь и всякие коментарии.

Я уговорил генерала Сухомлинова передать мне целиком все еврейские дела с целью, с одной стороны, освободить его от непродуктивной работы, а с другой—ускорить их производство, минуя одну лишнюю инстанцию, именно его канцелярию. Сухомлинов вполне согласился со мной. Я распорядился при рассмотрении этих дел допускать—насколько это зависело от меня—всевозможные облегчения. В Киеве окончательно подтвердилось мое мнение, составленное еще в Минске, о вредности ограничений для евреев, которые становятся врагами правительства, и в то же время ограничения эти воспитывают ненависть к ним в коренном населении.

В начале января в Киеве возникли упорные слухи о готовящемся еврейском погроме. Они приняли серьезный характер и подтверждались донесениями полиции и сыскных агентов. Я обратился к генералу Сухомлинову, как к командующему войсками киевского военного округа, с просьбой вызвать в Киев два кавалерийских полка, чтобы с помощью

их и полиции предупредить всякую возможность погрома. После этого начавшиеся было на Подоле [1]) отдельные нападения на евреев моментально прекращались, причем нигде человеческих жертв не было.

Примером укоренившейся в городе вражды против евреев может служить следующий случай: когда мне представился командир одного из кавалерийских полков, вызванных для предотвращения погрома, бывший некогда офицером гвардии, человек в высшей степени дисциплинированный и образцовый начальник, он спросил меня, верно ли утверждение, будто их вызвали специально для того, чтобы помешать еврейскому погрому. Получив утвердительный ответ, он просил меня для этой цели его полка не употреблять, так как он опасается, что люди его не исполнят приказаний, если не в форме прямого, то в виде пассивного отказа. Я довел об этом разговоре до сведения Сухомлинова, и полк этот был из Киева возвращен на свое место.

Я припоминаю, как про одного эскадронного командира рассказывали, что он в обществе совершенно открыто говорил, будто его эскадрон при всех еврейских погромах всегда опаздывал на полчаса.

Пришло время выборов в Думу; другими словами, наступил момент, когда я, согласно полученному предписанию, должен был организовать эти выборы. Столыпин был того мнения, что правительство не может оставаться совершенно в стороне от выборной кампании, как это было при выборах в I Думу. Участие правительства, которое

[1]) Часть Киева, населенная преимущественно евреями.

допускается парламентской практикой в других странах, выразилось у нас в очень скромной и почти робкой форме, но это нисколько не помешало печати левого направления поднять крик о подкупах, пущенных в ход правительством. Эти крики я могу опровергнуть тем, что назову отпущенную мне на предвыборную кампанию сумму денег, которая теперь, конечно, не может больше составлять тайны. Для предвыборной кампании по всей Киевской губернии мне отпущено было всего на всего десять тысяч рублей. Смешно говорить о подкупе целой губернии при помощи такой суммы.

Мое участие в выборах выразилось в том, что я оказал поддержку созданному еще до моего прибытия в Киев выборному комитету, к которому примкнули все умеренные элементы. Во главе этого комитета стоял известный местный деятель в области социальной политики, некто Рева. Я снабжал его деньгами для печатания выборных воззваний, для маленькой газетной кампании и, наконец, для покрытия путевых издержек и расходов на содержание в Киеве неимущих избирателей. В городском театре было организовано торжественное представление патриотического характера, на которое были особо приглашены крестьяне-выборщики. Была дана опера „Жизнь за царя“, и все представление прошло при повышенном настроении публики.

Самые большие заботы причиняли мне крайне правые партии, наметившие от своих отдельных партийных групп целый ряд кандидатов. После долгих переговоров мне удалось добиться, чтобы все они отдали свои голоса епископу Платону, которого я очень просил не отказываться от этого избрания.

Во время выборов я имел случай близко познакомиться с редактором „Киевлянина“, ныне уже умершим, профессором Д. И. Пихно. Этот выдающийся журналист произвел на меня сильное впечатление. Как человек твердых убеждений, он не допускал никаких компромиссов и в государственных вопросах не становился на узкую партийную точку зрения. Если сюда присоединить его неподкупную честность, то станет понятно огромное значение, какое имел „Киевлянин“ не только в Киеве, но и во всей России. Только одного упрека заслуживал Пихно: он плохо разбирался в своих сотрудниках, не имевших в большинстве случаев никаких убеждений и преследовавших только свои личные интересы. Наиболее ярким примером может служить А. И. Савенко. Он был одним из наиболее близких сотрудников „Киевлянина“ и, пока газета находилась в руках Пихно, был не только единомышленником правых, но казался даже крайним среди них. Так как он принимал деятельное участие в выборах, то почти ежедневно являлся ко мне с жалобами на интриги левых. Однако, несмотря на всю его энергию, кандидатура его в члены Думы не имела успеха и только впоследствии ему удалось стать депутатом под флагом правых. Но, войдя в Думу, он сбросил маску, стал сильно леветь и сделался, наконец, одним из главных деятелей прогрессивного блока в 4-й Думе.

Мне лично киевские выборы оказали плохую услугу. Заведующий местным отделением государственного банка Афанасьев всеми средствами, особенно кредитом в банке, поддерживал кадетскую партию. Такой образ действий лица, находящегося на государственной службе, занимающего крупный пост и употребляющего для таких целей казенные средства, по моему, не мог быть терпим. Я донес

об этом Столыпину, который потребовал от тогдашнего министра финансов В. Н. Коковцова удаления Афанасьева из Киева. Коковцов, однако, с этим не был согласен—и отсюда начинается его первое недовольство мной, которое, в связи с обстоятельствами, сопровождавшими трагическую смерть Столыпина, имело для меня очень неприятные последствия. Но этим моя борьба с Афанасьевым далеко еще не окончилась.

Как член совета при министре внутренних дел, я постоянно был в курсе противоправительственной деятельности Афанасьева. Столыпин потребовал в категорической форме его увольнения, и министру финансов ничего более не оставалось, как, скрепя сердце, согласиться и уступить. Отставка Афанасьева была уже решена, но его спасла смерть Столыпина. И вот в квартире Афанасьева, в которой остановился новый председатель совета министров В. Н. Коковцов, я должен был—о, ирония судьбы!—сделать мой первый доклад.

Первый день выборов в Думу прошел в Киеве и в уездах вполне спокойно. Само собою разумеется, что я должен был принять известные меры с целью парализовать некоторые начинания левых партий, явившихся на выборы в огромном числе и пытавшихся осуществить свои планы. Отослав в министерство внутренних дел протоколы о выборах, я считал данное мне поручение исполненным, и вернулся в Петроград.

Незадолго до моего отъезда правые партии устроили патриотический концерт с благотворительной целью. Генерал Сухомлинов и я решили присутствовать на нем. Часа за два до начала концерта ко мне явился начальник киевского охранного отделения Кулябко и просил меня не ездить в концерт, так как революционеры готовят, по его

сведениям, покушение на меня и на генерал-губернатора. Я сказал, что отказаться от своего намерения не могу и думаю, что и генерал Сухомлинов не откажется. И действительно, он тотчас же по телефону подтвердил мое предположение.

Я сообщил Кулябке решение генерал-губернатора и указал, что на его обязанности лежит принятие всех мер для предупреждения покушения.

В концерте я сидел рядом с генерал-губернатором. Оглянувшись назад, я увидел позади нас Кулябко, разговаривавшего с какой-то женщиной, внешний вид которой очень мало гармонировал с элегантной обстановкой концерта. В антракте Кулябко не отходил от этой женщины и очень любезно все время беседовал с ней. Потом он сообщил мне, что всякая опасность для меня и Сухомлинова миновала. На мой вопрос, кто была женщина, сидевшая рядом с ним, он сказал, что это его тайная сотрудница, которая дала ему знать о готовившемся покушении. Она все время наблюдала за залом, не появится ли в нем преступник. Она увидела его при входе и дала ему знать, что охрана очень сильна и что от задуманного покушения на этот раз нужно отказаться.

Мое назначение петербургским градоначальником не состоялось. Генерал фон-дер-Лауниц не оставил поста, а был убит незадолго до Рождества одним террористом.

Не получив от Столыпина никакого извещения, я телеграфировал ему и напомнил о данном мне обещании. Несколько дней спустя, я получил от него собственноручное письмо, в котором он уведомлял меня, что исполнение обещания на этот раз от него не зависело. Когда он сообщил о своем намерении царю и представил письменный доклад, государь ему сказал, что не желает, чтобы и меня

через несколько дней убили. Поэтому, он, Столыпин оставляет за собой право подумать о моем служебном положении по окончании моей киевской командировки.

В Киеве я познакомился с моим будущим заместителем на посту киевского губернатора графом П. Н. Игнатьевым, бывшим впоследствии министром народного просвещения, человеком о котором столько говорили в дореволюционное время и на которого оппозиционные партии смотрели, как на особенно светлое явление в бюрократическом мире. Я полагаю, что личность графа Игнатьева вряд ли соответствовала создавшемуся о нем представлению.

Я встречался с ним на служебном поприще— он занимал ответственный пост председателя земельного комитета. Это был, конечно, человек не ультра-правого образа мыслей, но по рождению и воспитанию безусловно преданный и честный слуга своего монарха. Будучи от природы мягкого характера, он не был поклонником решительных мер, но умел проводить свои решения в прямой и корректной форме, которая исключала всякую мысль о партийной политике. Дельный и серьезный работник, он не имел еще во время нашего знакомства большого служебного опыта, но я уже в то время угадал в нем хорошего губернатора.

ГЛАВА VII.

По возвращении моем в Петербург Столыпин принял меня не только любезно, но даже прямо сердечно. Он выразил мне благодарность за великолепное, как он выразился, исполнение моей командировки в Киев и сказал, что счастлив передать мне благодарность государя, который выразил свое

удовольствие после доклада о моей деятельности в Киеве. Министр коснулся и вопроса о моем желании занять место петербургского градоначальника и подтвердил то, что писал мне в Киев, именно, опасение царя за мою жизнь, которой угрожала бы опасность в случае, если бы я занял этот пост.

— Я вижу,—сказал, улыбаясь, Столыпин, — что полицейская служба имеет для вас особенно притягательную силу, и потому хочу сделать с вами опыт в этом направлении. Я сам плохой знаток полицейской службы, а А. А. Макаров, пользующийся моим полным доверием,—прекрасный юрист, но он не принадлежит к числу людей, располагающих практическим опытом. Что же касается очень способного директора департамента полиции М. И. Трусевича, то он человек, как известно, легко увлекающийся и ему не достает выдержки. На его долю выпала тяжелая борьба с революцией 1905 года. Он много потрудился в этой борьбе, но я чувствую, что в департаменте полиции и—что важнее—в подчиненных ему сыскных органах далеко не все обстоит благополучно. При ожидаемых переменах служебного персонала и особенно лиц, стоящих во главе дела, я хотел бы передать его в ваше ведение. Департамент полиции кажется мне таким большим и сложным аппаратом, что для руководства им необходима серьезная подготовка, начатая не сверху, а снизу, а также близкое знакомство со служебным персоналом,—знакомство, которого в положении начальника приобрести уже нельзя. Если вы ничего не имеете против, то я буду просить вас взять на себя руководство департаментом полиции в качестве вице-директора. Это даст вам возможность ознакомиться с подробностями службы, тем более, что в отсутствии директора вы будете

замещать его. Надеюсь, с Трусевичем у вас никаких конфликтов не будет.

Я выразил свое полное согласие, так как борьба с революционным движением интересовала меня уже давно, еще со времени службы в прокурорском надзоре. Я сказал Столыпину, что хотя знаю Трусевича очень мало, и хотя он пользуется репутацией человека неуживчивого, но я все же надеюсь избежать с ним всяких столкновений, так как буду щадить его больное самолюбие.

Через несколько дней мое назначение состоялось, и я вступил в свою новую должность. Не могу сказать, чтобы мое положение с самого начала было очень легким. Трусевич в беседе сообщил мне, что в моем ведении будет политическая часть департамента полиции, но что в деятельности его он будет принимать большое непосредственное участие. Он желал быть постоянно вполне в курсе дела не только о ходе революционного движения, но и касающихся его распоряжений, лично отдавал приказания чиновникам, заведующим сыском, и вообще вмешивался во все мелочи. На практике это создавало большие затруднения: я должен был знакомиться со многими бумагами, касающимися разных вопросов, уже после того, как они побывали на рассмотрении у директора департамента и после того, как он принял по ним те или другие решения. Таким образом я лично мог распоряжаться только в немногих и то не важных делах. Но я не жаловался на такую подчиненную роль и старался по возможности ближе ознакомиться с политическими делами департамента и особенно с его личным составом. Я никогда не держался с подчиненными чиновниками на начальнической ноге: охотно беседовал с ними, выслушивал их мнения, так что между нами установились очень хорошие отношения, которые

мне впоследствии пригодились, когда я в качестве товарища министра внутренних дел получил в свое полное ведение департамент полиции.

Предположения Столыпина о возможных у нас с Трусевичем конфликтах не подтвердились, — напротив, между нами очень скоро установились добрые отношения, которые, поскольку дело не касалось службы, можно было бы назвать даже дружескими. Но зато вполне оправдались догадки Столыпина о том, что в департаменте полиции не все обстоит благополучно. Я не хочу сказать, что это относилось к службе его чиновников, которые по своей аккуратности и исполнительности не оставляли желать ничего лучшего; зло коренилось в самой системе сыска, творцом которой был Трусевич. Вред его системы был тем сильнее, что по его рекомендации был назначен командиром отдельного корпуса жандармов генерал барон фон-Таубе, который ввел у себя в корпусе такие же порядки и оказал этим огромное влияние на своих офицеров.

У Трусевича нельзя отрицать ума и таланта: он работал быстро и проявлял большую решимость, но ему не хватало необходимого терпения и спокойной выдержки. Он не допускал возможности ошибок со своей стороны и не признавал чужих мнений—он был убежден, что никто ничего не делает и ничего не знает, и подобный взгляд, бывший результатом большого самомнения, должен был действовать на подчиненных в высшей степени неприятно. В данном случае это было тем более вредно, что плохо отражалось на самой системе сыска.

Трусевич вступил на должность директора департамента полиции в тяжелое время, весною 1906 года. Участившиеся к тому времени беспорядки и все более и более усиливавшееся револю-

ционное движение обнаружили не только численную недостаточность наличного состава служащих, но и неподготовленность сыскных агентов к своему делу. Офицеры корпуса жандармов, которые главным образом занимались политическим сыском, привыкли работать по установившемуся шаблону, обращая все внимание исключительно на тайные типографии и запрещенную литературу, каковые были в их глазах серьезными уликами противоправительственной деятельности. Не располагая достаточными силами и средствами, они, конечно, не могли справиться с растущим и менявшим свою форму революционным и социалистическим движением. Генерал Трепов выхлопотал в 1905 году усиление тайного фонда департамента полиции на три миллиона, и это до известной степени пополнило недостаток в средствах. А дабы возместить неподготовленность офицеров губернских жандармских управлений к сыскной деятельности, Трусевич открыл целый ряд местных или районных охранных отделений в разных местах страны. Начальники их имели в своем ведении по нескольку жандармских управлений, офицерами которых они руководили в деле политического розыска.

Но таких опытных лиц, которые могли бы руководить жандармской службой, у Трусевича не было, и он должен был назначать не только искусных в политическом розыске, но вообще способных и ловких людей, которые, как говорится, умеют показать товар лицом. В поисках за такими людьми, Трусевич назначал начальниками районных охранок совершенно молодых офицеров, которым должны были подчиняться их более старые товарищи по службе. Были случаи, что заслуженные генералы становились подчиненными подполковников или даже ротмистров.

Жандармские офицеры, сумевшие обратить на себя внимание директора департамента, получали награды и чины, вразрез со всеми существующими правилами о службе и чинопроизводстве в войсках. Вследствие этого в жандармском корпусе начали отделяться, так называемые, сыскные офицеры, которые стали относиться недоброжелательно к прочим сослуживцам. Трусевич ценил этих офицеров по числу раскрытых ими дел, не считаясь с тем, что в некоторых местностях революционного движения или вовсе не существовало, или оно существовало в очень слабой степени, что, конечно, нельзя было поставить в вину лицам, занятым политическим розыском в данных местностях. В этой неправильной постановке дела, данной директором департамента Трусевичем, и нужно, по-моему, видеть начало тех провокаций, которые развились потом в сыскном деле. Я считаю виновником их, правда, бессознательным, именно Трусевича, несмотря на его строжайшие циркуляры, воспрещавшие провокационные приемы. Сыскные офицеры стали смотреть на себя, как на лиц, занимающих исключительное положение: они совершенно не считались с местной администрацией даже в лице ее старших представителей, так что образовавшийся между ними и прочими офицерами раскол окончательно погубил дух этого учреждения.

Указанные личные особенности Трусевича создали в деле политического розыска еще одну брешь, выразившуюся в том, что петербургское охранное отделение было выделено из числа органов, подчиненных департаменту полиции. Начальник этого отделения занял совершенно обособленное место: он имел личный доклад не только у директора департамента полиции и товарища министра внутренних дел, но и у самого министра. Таким образом,

доклады охранки доходили прямо до директора, а в департамент поступали иногда с запозданиями и всегда с готовыми уже резолюциями, которые часто оставались непонятными, так как департамент не был знаком с личными докладами по поводу тех или других дел.

Петербург несомненно был центром революционного движения и, так как департамент не всегда знал, что в нем творится, то естественно должен был находиться в недоумении относительно общих руководящих мер для прочих сыскных органов в государстве. Характерным примером этого может служить положение социал-демократической фракции в Думе, подавшее повод к ее ликвидации. Департамент узнал об этой ликвидации только тогда, когда спустя несколько часов после издания соответственного распоряжения, в департамент поступил приказ директора известить об этом местную администрацию на предмет принятия ею с своей стороны необходимых предупредительных мер. Для меня лично эта брешь до известной степени восполнялась благодаря добрым и дружественным отношениям, существовавшим между чиновниками петербургского охранного отделения, симпатизировавшими мне, и А. Т. Васильевым, которому в то время было подчинено особое отделение департамента.

В июле директор получил отпуск. Утром в день его отъезда я говорил с ним, и он дал мне указания относительно политической стороны ведения дел, выразив надежду, что во время его отсутствия у меня не произойдет никаких недоразумений со старшим вице-директором департамента Н. П. Зуевым, который его заменит. Я сказал, что Зуева уважаю и люблю, нахожусь с ним в самых лучших, приятельских отношениях и не думаю, чтобы между нами могли произойти какие-нибудь недоразумения.

Часов около 12-ти этого же дня Трусевич неожиданно позвонил мне по телефону и просил немедленно прибыть к нему, так как через 2 часа он уезжает. Я поспешил к нему и он сообщил мне, что получил только что предписание министра сдать департамент на время своего отсутствия мне. Это предписание было, видимо, неприятно Трусевичу, зато им остался очень доволен Зуев, который заведывал всегда административной частью департамента и потому не очень-то охотно занимался политическим отделом его при замещениях директора.

Во время моего управления департаментом ничего особенного не произошло и потому я имел возможность на досуге близко ознакомиться с отношением Столыпина к делам. Два раза в неделю я являлся к нему для личных докладов, которые происходили в присутствии товарища министра А. А. Макарова. Доклады обыкновенно длились с 11 до 3—4 часов с небольшим промежутком для завтрака с семьей министра.

Столыпин живо интересовался всеми делами и, хотя он, до назначения моего, говорил мне, что считает себя плохим знатоком полицейского дела, но меня поражали его точные решения дел при докладах и способность быстро ориентироваться. Он необыкновенно скоро улавливал суть всякого дела. Работать с ним было очень приятно, так как его решительность и твердость невольно сообщались докладчику.

29 июля поздно вечером я получил извещение от министра двора барона Фредерикса о своем назначении шталмейстером двора его величества. Соответствующий приказ об этом должен был появиться на следующий день, бывший праздничным по случаю рождения наследника. Я должен был в это утро делать свой обычный доклад Столыпину, но он ска-

зал Макарову и мне, что сперва хочет отслужить молебствие о здравии наследника, и пригласил нас в церковь. После службы Столыпин поздравил меня с монаршей милостью и сказал: „Это вам награда за Киев". Мы приступили к докладу, прерванному в обычное время завтраком, на котором сегодня в виде исключения присутствовала и супруга Столыпина, Ольга Борисовна, обыкновенно вставшая очень поздно.

Ольгу Борисовну, которую все считали гордой и резкой, в чем упрекали и самого Столыпина, я увидел тогда в первый раз. Она была со мной очень любезна, поздравила меня с назначением и осушила с нами стакан шампанского, поданного по случаю моей награды. О. Б. Столыпина привязала меня к себе своим милым обхождением со мной, и я могу сказать, что мое первое впечатление от нее не изменилось при всех наших дальнейших встречах и что ее отношение ко мне оставалось всегда одинаковым.

Моя служба в департаменте полиции закончилась вследствие одного очень трагического события. Однажды в ноябре я остался на службе значительно позже обыкновенного, так как было очень много работы. Около семи часов вечера меня позвали к телефону. Я узнал голос Трусевича, который сказал мне, что полчаса тому назад в здании главного тюремного управления тяжело ранен начальник его Максимовский, и просил меня немедленно отправиться туда с заведующим особым отделением Васильевым, который случайно также находился еще в департаменте. Мы должны были произвести первое расследование этого террористического акта. Мы тотчас же отправились в главное тюремное управление. Максимовского мы уже не застали: его отвезли в больницу, где он вскоре умер во время операции. В здании главного тюремного управления

мы застали министра юстиции И. Г. Щегловитова, петербургского градоначальника, прокурора судебной палаты П. К. Камышанского, чинов прокурорского надзора и помощника начальника петербургского охранного отделения подполковника И. Н. Астафьева.

От этих лиц я узнал, что вечером в здании главного тюремного управления появилась какая-то женщина и сказала, что хочет видеть Максимовского. Максимовский был занят, и поэтому просительница осталась ждать его в приемной, где в это время находился еще начальник какой-то губернской тюрьмы, желавший представиться Максимовскому. Едва последний показался у порога своего кабинета, как дама произвела в него несколько выстрелов из браунинга и затем бросилась к окну, намереваясь, повидимому, выбросить револьвер на улицу. Но тюремный инспектор, бывший тут же, успел схватить ее и не дал ей выбросить револьвера. Это обстоятельство, как потом оказалось, спасло Щегловитова, градоначальника и меня. Дело в том, что, как потом оказалось, группа террористов, к которой принадлежала и эта женщина, задумала свой террористический акт в Финляндии. Во главе ее стоял какой-то латыш, известный под кличкою „Карл“ и прежде служивший письмоводителем в одном из отделений рижского окружного суда. Женщина, стрелявшая в Максимовского, оказалась некоей Евлалией Рогозинниковой. Если бы ей удалось выбросить револьвер, то для остальных членов этой группы, ждавших, повидимому, на улице, это послужило бы сигналом немедленно броситься к квартирам Щегловитова, градоначальника и моей в расчете, что мы, узнав о преступлении, сейчас же поедем на место его, и они таким образом будут иметь возможность убить и нас. Но благодаря тому обстоятельству, что Рогозинникова

была схвачена, надлежащий сигнал не был дан, и ее соучастники поспешили скрыться.

Я вошел в кабинет помощника начальника, где находилась Рогозинникова. Она стояла у стола, опершись о него. Я спросил, кто она, и получил ответ, что дело суда выяснить ее личность. Оставляя кабинет, я спросил Камышанского, была ли обыскана Рогозинникова, и получил утвердительный ответ. Но из распросов следователей и агентов сыскного отделения оказалось, что она не была обыскана. Тогда я приказал подполк. Астафьеву немедленно обыскать ее. Несколько минут спустя, он явился в кабинет Максимовского, где мы в то время находились, и очень взволнованным голосом доложил, что когда жены некоторых служителей, приглашенные им в качестве понятых для обыска Рогозинниковой, приблизились к ней, последняя крикнула им:

— Осторожнее, дуры, вы хотите взлететь на воздух.

Женщины убежали от нее. Было очевидно, что у Рогозинниковой имеется взрывчатое вещество, и я распорядился, чтобы городовые держали ее все время за руки и чтобы из главного артиллерийского управления вызвали специалиста, дабы разрядить снаряды. В виду позднего времени, однако, специалиста нельзя было найти, а потому я послал за помощником начальника охранки подполковником Комиссаровым. Последний, как бывший артиллерист, решил сам приступить к обыску.

Рогозинникову отвели в приемную, и Комиссаров спросил державших ее городовых: так как во время обыска может произойти взрыв, то готовы ли они все-таки помогать ему. Городовые, не колеблясь, ответили согласием. Рогозинникову положили на пол и держали за руки и за ноги. Комиссаров, нагнувшись над ней, стал обыскивать ее

и заметил два шнура и крошечную электрическую батарейку, что доказывало, что Рогозинникова имела при себе адскую машину. Он разрезал шнурки ножницами и открыл у нее лифчик, в котором находилось, повидимому, взрывчатое вещество. Он разрезал лифчик и нашел там тридцать фунтов экстрадинамита. После этой операции Комиссаров встал с пола, обливаясь потом,—вследствие пережитой смертельной опасности. Рогозинникова относилась, повидимому, совершенно равнодушно к тому, что взрыв в этом большом здании повлек бы за собой множество человеческих жертв, так как здесь кроме главного тюремного управления находилось еще немало частных квартир.

Я никак не мог ожидать, что убийство Максимовского повлечет за собой известные перемены в моем служебном положении. Когда я был заместителем директора департамента полиции, министр неоднократно говорил во время моих докладов о тяжелом положении наших тюрем, причем указывал, что Максимовский, к которому он относился всегда с большой симпатией, не в состоянии справиться с делом при настоящих условиях. Приэтом Столыпин не раз поднимал вопрос о преемнике Максимовского. Выбор его колебался между московским градоначальников Рейнботом и ярославским губернатором, шталмейстером А. А. Римским-Корсаковым. Я был поэтому очень удивлен, когда на следующий день после убийства Максимовского меня неожиданно вызвали к министру, и он предложил мне пост начальника главного тюремного управления. Я ответил Столыпину, что Щегловитов, в ведении которого находится главное тюремное управление, относится ко мне неособенно доброжелательно и захочет, вероятно, предоставить это место кому-нибудь из чиновников министер-

ства юстиции. Столыпин возразил, что он со Щегловитовым уже говорил об этом, и что сам Щегловитов предложил назначить меня, сказав при этом, что заранее согласен на все мои условия. Столыпин еще раз уверил меня, что мой уход из министерства внутренних дел будет считаться только временной командировкой и попросил, не откладывая, с'ездить к Щегловитову.

Последний принял меня чрезвычайно любезно и, не дав об'яснить причины моего визита, предложил мне в очень лестных для меня выражениях пост начальника главного тюремного управления. Дальнейшая беседа моя с ним вполне подтвердила то, что говорил мне Столыпин.

Я сказал Щегловитову, что считаю совершенно ненормальным положение начальника главного тюремного управления, который, по моему мнению, должен пользоваться величайшей самостоятельностью. Поэтому главное тюремное управление должно быть совершенно независимо от министерства юстиции, и бюджет его совершенно отделен от бюджета последнего. Мы знали оба, что переход главного тюремного управления из министерства внутренних дел в министерство юстиции, состоявшийся по желанию бывшего министра юстиции Н. В. Муравьева, был совершенно случайным. Щегловитов ответил, что вполне разделяет мое мнение и что законопроект о коренных реформах главного тюремного управления уже готов. Согласно этого проекта начальнику его предполагается предоставить права товарища министра.

Щегловитов обещал мне, что хотя этот законопроект еще не препровожден в законодательные учреждения, он предоставит мне тем не менее полную самостоятельность даже в тех случаях, когда за отсутствием министра, его права переходят к од-

ному из товарищей его. Затем он согласился также и со вторым моим замечанием о роли прокуратуры в тюремном ведомстве. Дело в том, что я из моей служебной практики знал, что чины прокурорского надзора с одной стороны часто превышают свою власть в качестве органов, наблюдающих за содержанием арестантов в тюрьмах, а с другой считают себя, несмотря на наличность тюремной инспекции, начальством над тюремными чиновниками и постоянно вмешиваются в их распоряжения, что ведет к нежелательным трениям.

— Я сам давно уже думал об этом,—сказал министр юстиции,—и теперь хочу вас просить с'ездить, как только вы вступите в должность, в Москву, где отношения между губернским тюремным инспектором и прокурором окружного суда приняли прямо невероятный характер. Чтобы устранить указанное вами явление, я циркулярно предпишу прокурорам судебных палат, чтобы они приказали своим подчиненным строго держаться в рамках закона.

При таких условиях мне ничего больше не оставалось, как поблагодарить министра за оказанное мне доверие и согласиться на его предложение. Беседа наша закончилась любезным заявлением Щегловитова, что он имеет в виду просить государя о назначении меня сенатором в случае, если я оставлю службу в главном тюремном управлении, не получив другого назначения.

Я сердечно простился с моими сослуживцами по департаменту, унеся с собой наилучшие воспоминания о нашей совместной работе, и через несколько дней, со стесненным сердцем, перешагнул покрытый кровью моего предшественника порог служебного кабинета начальника главного тюремного управления.

ГЛАВА VIII.

Меня ожидала тяжелая работа, которую я легко мог предвидеть на основании своего прежнего служебного опыта. Как прокурору и губернатору, мне уже приходилось иметь дело с тюрьмами, и я знал, что главные затруднения проистекают здесь от недостаточности средств. Попытки правительства помочь этому путем привлечения общественных сил не достигли желаемой цели, так как созданные с этой целью тюремные комитеты собрали более чем скромные средства и превратились в какие-то промежуточные хозяйственные инстанции главного тюремного управления.

Действительность, с которой мне пришлось столкнуться на первых же порах моей деятельности, оказалась печальнее, чем я предполагал. Само главное тюремное управление было перегружено работой, которую не разгрузило бы даже увеличение штатов, о котором говорил министр при нашем первом свидании. Впрочем, количественная недостаточность наличного состава чиновников с лихвою покрывалась здесь их качеством, так как в течение своей долголетней службы я такого прекрасного во всех отношениях подбора служащих, как здесь, не встречал.

Между инспекторами, стоявшими во главе отдельных частей ведомства, попадались прямо выдающиеся личности. Я никогда не забуду Л. Д. Гомолицкого, в руках которого находился бюджет и вся отчетность главного тюремного управления, инспектора Рагозина, управлявшего работами арестантов—огромным многомиллионным делом, охватывавшим всю Россию, инспектора Мельникова, заведывавшего тюремными постройками, и, наконец,

профессора Дриля, стоявшего во главе колоний для малолетних преступников. Главой этих выдающихся работников был мой многоопытный, отличавшийся добросовестностью и рыцарской прямотой помощник Т. фон Беттихер.

В главном тюремном управлении я впервые должен был столкнуться с некоторыми представителями либеральных партий, которые, как я и ожидал, должны были, имея в виду мою прежнюю службу, встретить меня очень враждебно. Весьма характерной является моя первая служебная беседа с проф. Дрилем. Я знал, что он был либералом не только на словах, но истинным другом человечества, особенно на поприще исправления и воспитания малолетних преступников. Я не могу утверждать, что совершенно разделял его взгляды. Более близкое практическое знакомство с колониями для малолетних преступников убедило меня, что здесь обойтись без строгих мер невозможно, но я понял в то же время, что мне будет очень трудно переубедить проф. Дриля. Поэтому я решился пойти напрямик и при первом же знакомстве с ним высказал уверенность, что, зная по слухам о моей строгости, он не может отнестись ко мне, как к своему начальнику, с особенной симпатией. Я прибавил, что не всегда согласен с ним во взглядах, но очень уважаю их прямоту. Он может поэтому быть уверен, что я отнесусь с полным вниманием ко всем его предложениям, тем более, что они являются в моих глазах мнением специалиста. Я всегда очень буду считаться с его мнениями по тем или другим вопросам, но оставляю за собой, как за начальником учреждения, право последнего решающего слова. В дальнейшей нашей совместной работе с профессором Дрилем были случаи, когда мнения наши совершенно расходились, но мы, имея

в виду прежде всего пользу дела, всегда находили возможность притти так или иначе к известному соглашению. Мы расстались с ним с чувством взаимного уважения и доброжелательства, которые профессор Дриль выразил в своей речи, когда я оставлял пост начальника главного тюремного управления.

Во главе юридической части учреждения находился другой либеральный деятель—М. М. Боровитинов, читавший в училище правоведения уголовное право. В вопросах законодательства его взгляды отличались теоретичностью.

Договориться с ним было иногда довольно трудно, тем не менее наша совместная работа носила вполне дружественный характер. Чрезмерная отвлеченность его воззрений умерялась практичностью товарища секретаря государственного совета Линского, исполнявшего обязанности юрис-консульта главного тюремного управления.

Оба эти сотрудника мои играли впоследствии видную роль в Финляндии, где Линский занимал пост помощника генерал-губернатора, а Боровитинов—сперва директора канцелярии генерал-губернатора, а потом — вице-президента финляндского сената.

При дальнейшем знакомстве с делами главного тюремного управления я нашел, что тюрьмы России были переполнены больше, чем в два раза, против нормы. Быстро распространявшиеся в них сыпной и брюшной тифы требовали найма дополнительных помещений, а сотни поступавших ежедневно телеграмм сообщали, что подрядчики, вследствие огромной задолженности тюремных комитетов, крайне стесненных в своих средствах, отказывались давать или делать что-либо в долг. Единственным спасением было повышение бюд-

жета. Работы в этом направлении—и именно составление сметы на будущий год—были уже закончены при моем предшественнике.

Поэтому мне оставался только один выход, именно возможное сокращение излишних расходов.

На практике хозяйственное отделение главного тюремного управления отдавало особым подрядчикам поставку необходимых материалов и вещей. Я нашел этот способ заготовки непрактичным, особенно после личных переговоров с самым крупным из них, Коншиным, который сразу согласился сбавить по 2 копейки с пуда на поставляемые им товары. Я далек от мысли обвинять своих подчиненных в злоупотреблениях, но я не мог примириться с такой непрактичной постановкой дела, и приказал в будущем хозяйственным способом заготовлять все необходимое, что дало нам значительную экономию при дальнейших заготовках и закупках. Обсуждение сметы главного тюремного управления в Государственной Думе, где я впервые выступил, прошло благополучно, так как Дума никаких сокращений и сбавок не произвела. И эта усиленная смета оказалась далеко не достаточной, и я распорядился поэтому приступить к предварительной разработке значительно увеличенной сметы.

Но еще до внесения в Думу, эта смета встретила серьезную оппозицию в совещании представителей всех соприкасающихся с главным тюремным управлением ведомств, а затем, совершенно неожиданно, и в самом совете министров. В обоих заседаниях финансовая система тогдашнего министра финансов В. Н. Коковцова сказалась очень определенно. Эту систему следовало бы правильнее назвать своего рода казначейской деятельностью: именно, министерство финансов не исходило из соображений, какие расходы действительно и бе-

зусловно необходимы для того или другого ведомства, а заранее высчитывало по сметной росписи предполагаемые расходы и доходы и об'являло в собрании представителей ведомств ту сумму, которую оно может отпустить тому или иному ведомству, чтобы заключить смету без дефицита. При такой финансовой системе все внимание уделялось не изысканию средств и путей для новых доходов, но ограничению расходов. Представители министерства финансов и солидарного с ним государственного контроля, зная заранее смету того или другого ведомства, оспаривали при обсуждении ее каждую копейку и, после долгих дебатов по каждому пункту, добивались принятия тех сумм, которые заранее были определены министерством.

То же самое повторилось при обсуждении сметы в собрании представителей разных ведомств, о котором я уже упоминал, и, хотя мне удалось добиться здесь некоторых увеличений, но они были в общем очень малы. Поэтому я, с позволения министра юстиции, представил разработанную в главном тюремном управлении смету на обсуждение в совет министров.

Заседание прошло под председательством Столыпина, но, к сожалению, министра юстиции не было, и его заменил товарищ его, сенатор Гасман, страдавший, как это часто случается, известной робостью по отношению к министерству финансов, от которого так сильно зависит благополучие того или другого ведомства. Коковцов в почти суровом тоне раскритиковал смету тюремного ведомства, причем не постеснялся открыто признать правильность ранее упомянутой системы своей; затем об'яснил, что у него осталось около 20 миллионов, и предложил всем ведомствам полюбовно поделить эту сумму между собою. Сенатор Гасман оппонировал очень

слабо, и потому я попросил слова. Не отрицаю, что я был очень раздражен тоном Коковцова, и потому позволил себе отвечать ему в такой форме, которая была, пожалуй, совершенно недопустима в те времена для лица, занимавшего второстепенное положение и представлявшего лишь одно из ведомств министерства юстиции. Я указал прежде всего на то, что лично исследовал расходы и всячески изыскивал способы их покрытия и сокращения; затем заявил, что расходы точно вычислены в представленной росписи, которая рассчитана на существующую в настоящее время тифозную эпидемию и что я, наконец, не добиваюсь личных целей, но мое упорство диктуется безусловной необходимостью.

Я ожидал резкого ответа Коковцова, который не любил стесняться в своих возражениях лицам, стоявшим ниже его, когда Столыпин вдруг заявил, что он вполне разделяет мое мнение и что он также думает, что предлагаемая смета должна быть принята. Пожав плечами, Коковцов молча отодвинул от себя бумаги; совет министров утвердил смету, которая потом была принята и Думой.

Из числа законодательных вопросов, которыми главное тюремное управление особенно занималось в мое время, наибольшее значение имели два: замена каторжных работ в Сибири интернированием в центральных тюрьмах России и отмена ссылки в Сибирь.

Положение каторжных тюрем в Сибири давно уже привлекало к себе внимание моих предшественников, которые признавали, что состояние их далеко не удовлетворительно. Это подтвердил и доклад специально командированного с этой целью инспектора главного тюремного управления Грана, который посетил и осмотрел все места заключения в Сибири.

Прежде всего сибирские каторжные тюрьмы находились в двойной зависимости: от главного тюремного управления, с одной стороны, и непосредственно от иркутского генерал-губернатора, с другой, что, естественно, создавало на практике большие трения. Это раз. Во-вторых, было трудно в виду отдаленности расстояния находить для управлений тюрьмами необходимый персонал, который соответствовал бы требованиям, пред'являемым тюремным управлением. Недостатки надзора увеличивались еще трудностью контролировать их, и начальники тюрем попадали, благодаря этому, в такое положение, что становились почти совершенно независимыми. Если сюда присоединить недостаточность кредитов, то станет вполне очевидной необходимость реорганизации тюремно-каторжного дела в Сибири, тем более, что правительство не желало наводнять ее преступными элементами. Главное тюремное управление делало многое, чтобы уничтожить подобный порядок вещей.

В центральной России был устроен с этой целью целый ряд каторжных тюрем, отвечавших новейшим требованиям науки, в которых, однако, совершенно утратили свой принудительный характер широко поставленные в них работы арестантов. Ссылка в Сибирь на вечные времена была отменена; в мое время осталась только ссылка на поселение, и так как она вообще практиковалась очень редко, то в Сибирь преступный элемент поступал в сравнительно небольшом количестве.

Оба эти законопроекта были в мое время вполне закончены при сотрудничестве моих вышеназванных сослуживцев.

Серьезным вопросом являлась постановка арестантских работ. Я нашел ее в блестящем состоянии: работы были организованы на широких началах,

отвечали многим потребностям самого тюремного ведомства, отличались дешевизной, наполняли продуктивно жизнь арестантов и снабжали их средствами на первое время по выходе из тюрем. А приобретенные в тюрьме знания ремесл давали арестантам возможность продуктивно работать и на свободе.

Я обратил внимание и на тюремную дисциплину, которая также оставляла желать весьма многого. Так, я заметил, что в одной тюрьме имели место частые роды. Оказалось, что вследствие слабости тюремного надзора, арестанты имели свободный доступ на женскую половину тюрьмы. Это было немедленно уничтожено, и я требовал точного исполнения существующих на этот счет инструкций.

Летом 1908 года товарищ министра внутренних дел А. А. Макаров, бывший моим начальником в те времена, когда я состоял в Москве товарищем прокурора, сообщил мне, что, в виду назначения его с первого января 1909 года статс-секретарем, оно ставляет свой пост и что он говорил с Столыпиным о моем возвращении в министерство внутренних дел. Я ни одной минуты не думал, что смогу явиться заместителем Макарова, так как полагал, что на это место будет назначен Трусевич. В виду же раньше высказанного намерения Столыпина привлечь меня к полицейской службе, я думал, что буду назначен на место Трусевича директором департамента полиции. В этом смысле я и обратился с вопросом к Макарову, который, как я знал, очень расположен к Трусевичу. Улыбаясь, Макаров сказал мне, что я, благодаря своей чрезмерной скромности, ошибаюсь: дело шло о моем назначении товарищем министра, и он с своей стороны очень энергично поддержал кандидатуру своего прежнего подчинен-

ного. Приэтом от меня не укрылось, что отношения Макарова к Трусевичу видимо изменились к худшему.

— Столыпин считает этот вопрос решенным, но думает, что оффициальный разговор с вами на этот счет преждевременен,—закончил Макаров нашу беседу.

В октябре разговор на эту тему, но в другой форме, повторился у меня с Трусевичем. Директор департамента полиции сообщил мне с обычной своей самоуверенностью о предстоящем назначении Макарова статс-секретарем.

— Я, конечно, буду назначен его заместителем—добавил Трусевич.

В то же время он сообщил мне, что имеет в виду хлопотать у министра внутренних дел о моем назначении директором департамента и вполне надеется, что министр согласится с его ходатайством. Едва скрывая улыбку, я благодарил Трусевича за его любезность.

12 декабря Волынский лейб-гвардии полк праздновал свой полковой праздник. Муж моей кузины, флигель-ад'ютант Ширкевич, дежурил в этот день во дворце и был приглашен к высочайшему столу. Во время обеда царь заинтересовался семьей флигель-ад'ютанта и, узнав, что он женат на дочери генерала-от-инфантерии Курлова, спросил:

— Не родственник ли вашей жене начальник главного тюремного управления Курлов, которого я вчера назначил товарищем министра внутренних дел?

Ширкевич на следующий же день прямо со службы отправился ко мне сообщить радостную весть. Я передал об этом Макарову и просил его сказать об этом Столыпину. Последний ответил ему, что теперь нет надобности скрывать мое назначе-

ние, и просил меня на следующий день явиться к нему.

— Государь император не сохранил нашей тайны,—встретил меня Столыпин, улыбаясь,—вы видите, я обещание свое исполнил и теперь официально сообщаю вам о вашем назначении товарищем министра внутренних дел.

Я благодарил его и высказал надежду быть таким сотрудником его, на которого он сможет положиться, так как буду всегда говорить ему правду, какова бы она ни была, откровенно высказывать свои соображения и точно исполнять его приказания.

В беседе я опять высказал Столыпину свой взгляд, о чем докладывал и прежде—на положение вещей и на службу в департаменте полиции—и напомнил о полном несогласии моем с системой Трусевича. Я не умолчал и о том, что мое внезапное назначение и необходимость для Трусевича исполнять приказания своего прежнего, хотя и временного подчиненного, вызовут крайнее неудовольствие его, которого он, при своем характере, пожалуй, не сможет обуздать. В виду этого, говорил я далее, наша дальнейшая совместная служба с ним будет, я думаю, вредна для дела. Столыпин вполне согласился со мной и сказал, что он ни минуты не сомневается в уходе Трусевича, которого он и не подумает удерживать.

— Я только не допущу,—говорил Столыпин,—протеста с его стороны в виде немедленного оставления службы. Трусевич говорил мне о своей болезни, так вот я дам ему отпуск для лечения, а к Пасхе выхлопочу ему назначение в сенаторы. Зуев опытный чиновник, и в это переходное время вполне ознакомится с обязанностями директора,

Я заметил, что не только уверен в этом, но вообще думаю, что Зуев единственный кандидат на эту должность.

— Ну, об этом мы еще поговорим,—сказал Столыпин,—а теперь я вас прошу сегодня же известить Трусевича о предстоящей перемене и не скрыть той части нашей беседы, которая касалась его лично.

Я попросил Столыпина освободить меня от этого неприятного поручения, но он настаивал на нем.

Для меня должен был начаться новый период совместной работы со Столыпиным, и с мыслью об этом я покинул его кабинет. Из дому я позвонил Трусевичу и сказал ему, что хочу переговорить с ним об одном очень важном деле. Он пригласил меня к себе на 8 часов. Я счёл своей обязанностью предупредить о предстоящей перемене моего служебного положения и министра юстиции, так как с моим уходом для него внезапно возникал вопрос о моем заместителе по должности начальника главного тюремного управления. Я поехал сперва к Щегловитову, который по крайней мере внешне,—был очень поражен и опечален моим предстоящим уходом. Он спросил меня, на кого я мог бы указать, как на своего преемника, и я назвал моего помощника Беттихера, высказав уверенность, что его продолжительная служба в тюремном ведомстве ручается за удачность его назначения. Щегловитов сказал, что вполне разделяет мое мнение, но назначить его все-таки не может потому, что Беттихер, несмотря на свою 27-летнюю службу в России, плохо владеет русским языком, что сделает невозможным его выступление в Государственной Думе.

— Но что вы думаете о Хрулеве, прежнем прокуроре московской судебной палаты?—спросил он меня.

Я сказал, что знаю давно Хрулева, с которым мы молодыми людьми поступили на службу при Муравьеве, считаю его умным, способным человеком и между старшими чиновниками министерства юстиции вряд ли найдется другой, более подходящий для этого кандидат.

В этот же день я рассказал Ф. Беттихеру о своем назначении и о разговоре с министром, и сам он согласился с правильностью соображений Щегловитова. Но кандидатура Хрулева в качестве нового начальника, видимо, не нравилась ему, так как Хрулев—чего я тогда еще не знал—пользовался среди чиновников репутацией требовательного и строгого начальника.

Так прошел весь день, и я много раз вспоминал о предстоящем мне вечером неприятном свидании с Трусевичем.

Мы встретились с ним дружественно, и когда он спросил меня, о каком важном деле я хотел говорить с ним, я сказал, что имею поручение министра сообщить ему кое-что.

— Щегловитова?—спросил он.—Что ему нужно от меня?

Когда я ответил, что не Щегловитова, а министра внутренних дел, лицо его изменилось, и он заинтересовался, в чем дело. Я рассказал ему, что видел министра сегодня утром, и передал содержание нашей беседы. Трусевич поздравил меня, но когда я высказал надежду, что мы с ним и дальше будем совместно служить, он заговорил о своей болезни, которая заставляет его воспользоваться двухмесячным министерским отпуском и уехать, как только я вступлю в должность и приму от него дела департамента полиции.

31 декабря вечером я получил оффициальное извещение министра о высочайшем утверждении

меня в новой должности, причем сообщалось о передаче в мое ведение департамента полиции, департамента духовных дел инославных исповеданий и технического-строительного департамента.

ГЛАВА IX.

Служба моя в департаменте полиции в главном тюремном управлении совпала с сессиями 2 и 3 Думы, причем прямых отношений со 2 Думой я не имел. Обстоятельства, поведшие к роспуску ее, остались мне в подробностях неизвестными, хотя я и занимал тогда пост директора департамента полиции. Я ознакомился с ними, и то лишь весьма поверхностно, когда стал товарищем министра.

Причиной роспуска 2 Думы послужили преступные замыслы ее социал-демократической фракции, поставившей себе целью вызвать восстание в местном гарнизоне, что было обнаружено розыском и о чем Столыпин узнал лишь потом. В одном заседании этой фракции, на котором тайно присутствовали агенты петербургской охранки, появились представители армии и флота с мандатами революционных военных кругов. Полиция явилась в заседание почти одновременно с военными делегатами, и именно в тот момент, когда один из них только что начал читать свой мандат. Все присутствовавшие на этом заседании были арестованы, но члены Думы, по удостоверении их личностей, были отпущены. Одному кавказскому делегату удалось при появлении полиции разорвать бывший у него мандат, но текст его был впоследствии восстановлен.

1 июня Столыпин в заседании Думы, происходившем при закрытых дверях, потребовал исключения из ее состава 55 человек и согласия Думы

на арест 15 из них, в виду обвинения их в политическом преступлении. Дума этого требования не исполнила и была в тот же день распущена. Дело бывших членов ее, принадлежавших к социал-демократической партии, рассматривалось потом в петербургской судебной палате, которая приговорила виновных к каторжным работам.

Мне пришлось войти в непосредственные отношения к осужденным депутатам в качестве начальника главного тюремного управления после того, как один из них, представитель Кавказа, обратился ко мне с просьбой разрешить перевезти на Кавказ тело его товарища, также кавказца, умершего в орловской каторжной тюрьме. Закон не содержал прямого запрещения подобной перевозки, хотя из различных параграфов положения об арестованных можно было вывести необходимость отказа. Тем не менее я уважил просьбу этого просителя и разрешил перевезти труп на Кавказ.

3 июня был опубликован новый выборный закон, который значительно увеличил имущественный ценз избирателей и ограничил представительство окраин России. Этот закон дал нам работоспособную 3-ю Думу. Но прежде чем я скажу о своем выступлении в ней, я хочу остановиться на том, как работал с нею Столыпин.

Столыпин опирался всегда на центр Думы, который при вотумах поддерживало то левое, то правое крыло, но чаще, конечно, последнее. Когда оказалось, что такая поддержка не всегда обеспечивала проведение законопроектов в желательном для правительства смысле и когда в центре обнаружились колебания, особенно в связи с переменами в президиуме Думы, председатель совета министров создал партию националистов, которая стала главной поддержкой правительства. Необхо-

димость опираться на правое крыло привела Столыпина в непосредственное соприкосновение с крайними правыми партиями. Министр относился к ним с присущей ему прямотой, хотя лидеры партии категорически отрицали это: они утверждали, что Столыпин производит раскол в партии, поддерживая то одного, то другого члена ее. Но здесь вина переносится с больной головы на здоровую, так как старания министра привлечь выдающихся лиц для поддержки правительства ни в коем случае не могли быть причиной раскола, но последняя крылась в их собственных несогласиях. Правые партии, конечно, могли бы поставить в вину Столыпину, что он не стал рабом их и не исполнял всякое их желание, особенно если оно с его точки зрения могло быть вредно для государства. Выступления председателя совета министров в Думе явились для него рядом триумфов: его речи, несмотря на то, что в них звучала часто горькая истина, имели колоссальный успех.

Я вспоминаю живо речь Столыпина, произнесенную в ответ на запрос Думы об Азефе. К сожалению, он дал увлечь себя живостью своего темперамента и стал жертвой провокации в самом точном смысле слова, не только со стороны членов Думы, но далеко стоящих от нее лиц. Запрос об Азефе не содержал собственно никаких фактических данных о незакономерности, будто бы совершенной правительством, и содержание его доказало, что и внесшие запрос также не располагали никаким материалом в этом отношении. Министр приказал мне тщательно ознакомиться со всеми находящимися в департаменте полиции материалами об Азефе с целью выяснить, нет ли каких-нибудь данных, которые указывали бы на участие его в террористических актах. Я добросовестно занялся этим

и нашел мелкие указания на принадлежность Азефа к числу тайных агентов департамента. Я напрасно искал каких-нибудь подробностей, касающихся его деятельности в качестве агента, но не нашел их, они вероятно остались в руках его людей. Указаний на участие Азефа в боевой организации безусловно не было и можно только удивляться, что стоявшие тогда во главе департамента полиции люди были так слепы, что не почуяли причастности Азефа к террористическим актам. Я сообщил результат своих поисков министру, и мы вместе с ним обсудили позицию, какую должно занять правительство в Думе при этом запросе. Я высказал свое мнение, что так как в Думе вероятно не будут представлены никакие дополнительные фактические данные, то представитель правительства должен поэтому ограничиться заявлением, что правительство лишено возможности представить об'яснения на внесенный запрос, так как ни в нем самом, ни в прениях не установлено никаких незакономерных действий властей. Приэтом я добавил, что подобное об'яснение должно быть сделано не председателем совета министров, но каким-нибудь второстепенным чиновником. Например, я взял бы это на себя. Министр пожелал выслушать и мнение Макарова, и так как последний вполне разделял мой взгляд, то Столыпин решил, что я с этими об'яснениями выступлю перед Думой.

В заседании Думы присутствовал министр, и я ждал минуты моего выступления. Фактически ни один из ораторов не внес никаких дополнений в запрос, но молчание присутствовавших правительственных чинов вызвало большое волнение у левых, так что заседание, по предложению лидера кадетов, было прервано с целью обсудить создавшееся положение. Во время перерыва я спросил

министра, не переменил ли он своего решения, но он ответил, чтобы я по окончании перерыва первый взял слово. На кафедру взошел депутат Пергамент. Его блестящая речь состояла из общих фраз, но несколько раз он довольно ядовито нападал на министра. Последний не мог оставить эти нападки без возражения и выступил с обычной прямотой с подробными об'яснениями. Речь его дала оппозиции матерьял для прений, отнявших весь следующий день. Думские ораторы преимущественно останавливались на сообщении Столыпина об участии Милюкова, Набокова и князя Долгорукова в парижской конференции социалистов-революционеров и об их стараниях помешать удачной реализации русского займа за границей. Возражения их не имели успеха, так как сообщенные министром факты не были опровергнуты. Об Азефе, казалось, позабыли; все время было посвящено критике речи министра. Но если Дума забыла о своем запросе, то речь Столыпина давала ей повод коснуться таких предметов, которые уже по самому существу своему не допускали публичного обсуждения. Я далек от мысли упрекать Столыпина в его излишней горячности: способность глубоко возмущаться ложью, преувеличениями и всякого рода подозрениями была свойством его характера; он не стерпел бы прямого вызова, если бы даже от этого зависела его собственная жизнь.

В 1910 г., будучи за границей, я прочитал в газетах, что Столыпин совершил в Петербурге полет на аэроплане с пилотом капитаном Мациевичем, известным эс-эром. Я не мог допустить мысли, что Столыпин совершил бы этот полет, если бы он знал о принадлежности Мациевича к этой партии, и потому по телеграфу сделал упрек директору департамента полиции, что он не предупредил об

этом министра. Этот упрек я повторил по возвращении в Петербург и с изумлением узнал, что Столыпин обо всем этом знал. В тот же день, беседуя со Столыпиным, я не мог удержаться, чтобы не высказать ему порицания за такую неосторожность. Столыпин сказал, что по этому поводу ему уже делали много упреков, но он не был в состоянии отклонить вызов Мациевича.

Он рассказал мне, что Мациевич при посещении им аэродрома, спросил его, улыбаясь и глядя ему прямо в глаза, решится ли он совершить с ним полет. Не думая о возможных последствиях этого, он тотчас же согласился на это. Описав одну дугу, Мациевич спросил Столыпина, не желает ли он продолжать полет. „Мне стоило больших трудов,—продолжал Столыпин,—остаться спокойным, но я ответил, что больная рука моя не дозволяет дальнейших полетов".

Этими словами Столыпин закончил свой рассказ. Мациевич благополучно спустился на аэродроме. Спустя некоторое время он упал с аэропланом с большой высоты и разбился на смерть. Был ли это несчастный случай или наказание за то, что видный член партии эс-эров не воспользовался удобным случаем погубить председателя совета министров — это навсегда останется тайной погибшего.

Я должен был выступить, как уже сказано, в Государственной Думе один раз при обсуждении сметы главного тюремного управления и дважды — при обсуждении бюджета министерства внутренних дел. Когда я шел к трибуне, левые провожали меня враждебными криками, но зато, когда я стал говорить, все депутаты отложили газеты и слушали меня со вниманием. Много времени отнимало участие в думских комиссиях, как в финансовой, так и в за-

конодательной. В последней председательствовал октябрист Н. И. Антонов, бывший прокурор, человек, которому нельзя отказать в знаниях и общественном опыте. Но он имел страсть отклонять все предложения, что вызывало бесконечные споры со стороны других членов комиссий, не обладавших, впрочем, юридическими познаниями Антонова. Так, например, законопроект об исключительном положении вызвал бесконечные теоретические дебаты и занял десятки заседаний, хотя в конце концов были приняты все его параграфы.

Общие прения по вопросу о бюджете министерства внутренних дел не имели к самому бюджету собственно никакого отношения, а были направлены на общую деятельность министерства, особенно на департамент полиции и жандармский корпус.

Само собою разумеется, что нападки велись в очень страстном тоне и часто содержали сознательную ложь. Я припоминаю, что член кадетской партии генерал Бабянский, бывший военным судьей, критиковал и нападал на жандармский корпус, причем он особенно упирал на недостаточное образование офицеров. Кроме того он обвинял жандармов в жестокости, так как смертные приговоры были следствием их расследований. Я должен был заметить ему, что его сообщения о недостатке образования офицерства корпуса очень преувеличены, и что многие офицеры получили такое же образование в военно-юридической академии, как генерал Бабянский и я. Что же касается числа смертных приговоров, то я сообщил Думе статистические данные о числе смертных приговоров, пришедшихся на каждого военного судью,—не называя имен. В зале раздались крики: „Кто этот судья, на долю которого приходится наибольшее число смертных приговоров?" В ответ я назвал генерала Бабянского,

и это вызвало у противников военных судов, к сожалению, не возмущение, а смех.

Несмотря на подобный характер дебатов, Дума приняла предложенные на ее обсуждение бюджеты без изменения.

Во всяком случае, нужно сказать, работа III Думы была более продуктивной во всех отношениях, чем она была при других ее составах, ибо она действительно занималась законодательством и не избегала совместной работы с правительством.

ГЛАВА X.

Первые дни моей службы в качестве товарища министра внутренних дел ознаменовались процессом бывшего директора департамента полиции А. А. Лопухина. Процесс этот был для правительства очень тяжел и неприятен, в особенности для Столыпина и меня. А. А. Лопухин был товарищ Столыпина по гимназии, так что они были даже „на ты". Я знавал Лопухина еще мальчиком, когда в Ярославле жил у его дяди, председателя тамошнего окружного суда, Б. А. Лопухина, был впоследствии знаком и хорошо принят в семье его жены, урожденной княжны Урусовой, и с ним самим находился в наилучших отношениях, когда мы вместе служили прокурорами. Поэтому меня как громом поразило известие, что Лопухин оказался способен выдать революционерам одного тайного агента, известного ему, как директору департамента полиции, и нанести этим огромный вред делу политического сыска в России. Его разоблачение Азефа послужило, путем сравнительных сопоставлений, к разоблачению революционерами и других тайных агентов.

На второй или третий день после моего назначения Столыпин спросил меня об этом деле. Я заметил, что я еще недостаточно знаком с ним, но думаю, что для подобного поведения бывшего директора департамента полиции нет вообще названия и что оно должно повлечь за собою самое строгое административное наказание. Что же касается преследования Лопухина судом, то, мне казалось, в уголовном уложении о наказаниях нет ни одной статьи, которую можно было бы применить к образу действия Лопухина. Министр сказал, что ему это дело очень неприятно: он сам говорил с Лопухиным и результатом этого разговора явился полный разрыв их прежних отношений. Мой совет об уголовной стороне дела будет обсужден сегодня же в особом совещании, в котором примет участие Макаров, бывший товарищ министра внутренних дел, во время службы которого началось это дело.

Вечером в кабинете министра собрались Щегловитов, Макаров, прокурор петербургской судебной палаты Камышанский и другие высшие должностные лица. Вопрос о предании суду Лопухина вызвал оживленные прения. Я остался при своем мнении, уже высказанном Столыпину; тем не менее при голосовании большинством голосов было решено дело передать суду. Но в заседании суда стало ясно, как день, что в деянии Лопухина нет собственно состава преступления. Обвинение к нему было пред'явлено по ст. 102 уголовного уложения, но для применения этой статьи требовалось доказать принадлежность обвиняемого к тайному обществу, для его не было, конечно, никаких данных. Однако, несмотря на это, Лопухин был осужден и сослан в Сибирь на поселение. Этот приговор оказал правительству очень плохую услугу, так как он дал возможность левым партиям обвинять—и не без

оснований — правительство в том, что оно превращает суд в орудие политической борьбы.

Я быстро ознакомился с ходом деятельности подведомственных мне департаментов, причем в главном из них — в департаменте полиции — мне очень пригодилась моя прежняя служба там и, особенно, мое знакомство с служащими в нем чиновниками. Директор Трусевич был в отпуску, его место заступил вице-директор Зуев, что дало мне возможность тотчас же приступить к тем реформам, которые я считал безусловно необходимыми. Прежде всего я местные (районные) охранные отделения не уничтожил, а реорганизовал, произведя в начальники их, с согласия барона Таубе, начальника отдельного корпуса жандармов, старших должностных лиц губернских жандармских управлений. Потом мне удалось постепенно заменить некоторых ответственных чиновников департамента полиции другими, более подходящими лицами.

Доклады о деятельности департамента полиции происходили у министра, как и прежде, два раза в неделю и всегда в моем присутствии, что дало мне возможность ближе ознакомиться с личностью и деятельностью Столыпина. И чем больше я узнавал его, тем большим уважением проникался к нему.

Петр Аркадьевич Столыпин не был петербургским чиновником. Он начал свою службу в министерстве земледелия, затем исполнял в провинции должность предводителя дворянства и губернатора в Гродно и Саратове. Повсюду на местах своей службы он приобрел любовь и уважение окружающих, а в Саратове, во время беспорядков, имел возможность, рискуя жизнию, доказать твердость своего характера и преданность царю. Здесь он был ранен в правую руку, которой не мог вполне вла-

деть уже до конца жизни. На посту министра внутренних дел и потом председателя совета министров он выказал блестящие государственные способности и недюжинный ораторский талант.

Столыпин вступил на свой высокий пост именно в тот момент, когда вся Россия была охвачена восстанием, потрясшим весь организм ее, и хотя самый тяжкий период, благодаря твердости Дурново, уже миновал, но оставались все же его следы. Настроение общества, правда, облегчило ему задачу. Волнения 1905 года испугали многих либералов, впервые почувствовавших опасность для своего кармана. В провинции либеральные элементы дворянства и земства обнаружили заметное отклонение вправо и поддерживали мероприятия Столыпина по восстановлению порядка в стране. В этом отношении некоторые из них, в противоположность своим „программным убеждениям", дошли до крайних пределов, жертвуя для ненавистной им полиции огромные суммы денег. Новый выборный закон имел своим последствием III Думу, с которой правительство могло работать. Столыпин пользовался в думских кругах большим авторитетом, который об'яснялся, помимо прочих качеств, его лойяльным отношением к законодательным учреждениям.

— Не забудьте,— сказал он мне однажды,—что царю было угодно даровать русскому народу представительные учреждения. На нас лежит священная обязанность заботиться о том, чтобы они правильно функционировали.

С этой мыслью он подходил к делу. Он старался быть в постоянном контакте с членами Государственного Совета и Думы, говорил с ними в присутствии чиновников министерства о текущих вопросах и старался идти навстречу желаниям не только обеих палат, но и членов их в отдельности.

Подобный образ действия не исключал другого принципа, заключавшегося в том, что правительство, при своем стремлении работать дружно с Думой и Государственным Советом, не позволяло умалять своего достоинства, так как при малейших подобных попытках Столыпин обнаруживал твердость для охранения авторитета правительственной власти. Это должно было создать ему уважение со стороны окружающих, особенно потому, что он не был мелочен и не придавал значения вопросам личного самолюбия. Если какой-нибудь предмет имел, по его мнению, большое значение для государства, то он оставался непреклонным и ни перед чем не останавливался. Слава России и ее благоденствие были для него священны.

Можно было в отдельных вопросах придерживаться другого мнения, чем Столыпин, но его прямота и его заботы о России заставляли каждого относиться к нему с величайшим уважением.

В моем положении помощника я наталкивался на очень мало вопросов, в которых мы с ним расходились. Это были вопросы—окраинной политики и национальный. Что касается первого из них, то я придерживался того взгляда, что не следует подчинять себе народности с более высокой культурой, если подчиняющее их государство само стоит на более низкой ступени развития. Именно этим по-моему об'ясняется неуспех всех попыток России ассимилировать себе Финляндию и Польшу. Сюда следует присоединить еще и то, что эти попытки были связаны для России с расточительным расходованием огромных сумм, ложившимся тяжелым бременем на государственную казну.

Помимо подобной, тяжкой для правительства расточительности, окраинное население усматривало во всякой ассимиляторской попытке акт насилия

Само собою разумеется, что окраины должны были ради государственного единства подвергаться некоторым ограничениям, но приэтом не должны были быть задеваемы национальные особенности их и нарушаемы приобретенные столетиями права и обычаи. Столыпин не был поклонником политики насилия, но проведение строгой системы подчинения окраин центру государства было для него выражением владевшей им мечты о „великой России".

С этой отраслью политики я не имел ничего общего, так как при вступлении в должность поставил Столыпина в известность, что беру на себя обязанности по управлению полицией, но не желаю вмешиваться в общую политику. Поэтому с только что упомянутыми вопросами я приходил в соприкосновение только в узких пределах своей деятельности. Я был, однако, вполне согласен, что нельзя было разрешить в Финляндии экстерриториальность для революционеров и дать им полную свободу подготовлять террористические акты в нескольких верстах от резиденции царя.

Исходя из этих же соображений, я затронул в беседе с министром и еврейский вопрос, причем высказал свое обычное убеждение, что все ограничения евреев своей цели не достигают, а вызывают в них только озлобление, весьма опасное для поддержания порядка внутри страны. Столыпин не был противником моего взгляда, но находил, что равноправие евреев вызовет неудовольствие в некоторой части русского общества.

Он изложил мои соображения по этому предмету царю, который, по словам его, вполне согласился с его мнением, причем повелел, не возбуждая этого вопроса в законодательных сферах, принять в административном порядке меры к облегчению напра-

вленных против евреев ограничительных законоположений. Столыпин сделал это, но вызвал неудовольствие Думы и почти полный разрыв с крайними правыми партиями.

С большим интересом относился Столыпин к деятельности общественных организаций и учреждений. Он задался целью ввести земство в тех местах, где оно еще не было введено. И считал вопрос этот настолько важным, что, натолкнувшись в Государственном Совете на противодействие своим планам, не задумался пред самой крайней мерой: он убедил царя распустить на несколько дней Государственный Совет и Государственную Думу и провел закон о введении земства в Юго-и Северо-Западной России в порядке применения 87 статьи Положения о Думе. Проявляя такую твердость, он не заботился о своей личной пользе, напротив рисковал даже впасть в немилость царя, благодаря влиянию некоторых почувствовавших себя обиженными влиятельных правых членов Государственного Совета.

Его любимым вопросом была аграрная реформа, от правильного разрешения которой зависело, по его мнению, и самое существование государства. В России, несмотря на самодержавно-монархический строй ее правления, издревле существовало среди крестьянства особое крайнее социалистическое течение. Сперва крепостное право, а затем общинное владение совершенно вытравили в крестьянах принцип частной собственности и постепенно создали в них убеждение, что земля должна быть общей. Общинная форма землевладения имела еще другую дурную сторону в том, что благодаря ей, заглохло в крестьянах стремление интенсивно работать и хозяйничать на земле, которая в сущности им не принадлежала. Не владея лично землей,

крестьянин естественно не мог развить в себе чувства уважения к чужой земле.

Столыпин пришел к убеждению, что у крестьян можно поднять понятие о праве собственности, составляющем основной принцип всякой общественности и тем более государственности, только путем создания института частного владения и частной собственности. Исходя из этих соображений, он создал закон о выселении крестьян на отруба (хутора) при широкой поддержке правительства, несмотря даже на то, что к сторонникам общинного землевладения принадлежали по различным основаниям не только либеральные, но и большинство консервативных элементов страны, на которые правительству приходилось, конечно, опереться. Он был глубоко убежден, что маленькие „хозяйчики" окажутся, с точки зрения правительства, очень крепким и сплоченным классом, причем нисколько не опасался развития в стране сельского пролетариата, что и доказывал в своих речах в Думе. Столыпин употребил все силы на то, чтобы выселение крестьян на отруба шло как можно энергичнее, и в январе 1909 года об'ехал вместе с министром земледелия А. В. Кривошеиным несколько губерний, чтобы лично ознакомиться с ходом работ землеустроительных комитетов. В течение зимы он созвал в Петербург всех постоянных членов их и сам торжественно открыл их первое заседание. Нужно было послушать, с каким воодушевлением он излагал им цели и задачи этой новой аграрной реформы. Его речь, благодаря его ораторскому искусству, произвела на всех присутствовавших огромное впечатление. О дальнейших работах этого с'езда, происходивших под председательством товарища министра внутренних дел А. И. Лыкошина, ему ежедневно представлялся отчет.

Другим, не менее серьезным делом государственной важности являются труды Столыпина по вопросу о реорганизации полиции. К сожалению, законченный им законопроект не успел быть рассмотрен в третьей Думе, а четвертая, занявшись революционной деятельностью, вообще не имела времени обсудить его.

Мысль о безусловной необходимости полицейской реформы возникла у него еще в 1906 году, и тогда же была образована под председательством тогдашнего товарища министра внутренних дел Макарова комиссия, из состава которой, под председательством Трусевича, была выделена подкомиссия для детального обсуждения некоторых основных вопросов. В этой комиссии я принимал участие в качестве вице-директора департамента полиции. Когда я был назначен начальником главного тюремного управления, я по высочайшему повелению остался членом этой комиссии и продолжал участие в ней и будучи товарищем министра, в то время как Макаров до конца оставался ее председателем. Перед моим вступлением комиссия разработала проект об исключительных положениях и неприкосновенности личности. Подкомиссией были собраны все параграфы иностранных законодательств и инструкций, регулирующих данные вопросы в других государствах. Здесь же были сгруппированы все статьи, разбросанные в различных отделах и нашего свода законов об обязанностях полиции. Считаясь с тем, что полиции приходится исполнять массу дел, не имеющих ничего общего с ее прямыми обязанностями, прежде всего был установлен принцип освободить ее от них для того, чтобы дать ей возможность заниматься ее прямыми обязанностями. Вторым принципиальным вопросом было улучшение материального положения полиции

в связи с увеличением ее штатов, поднятия образовательного ценза полицейских офицеров и установление полной независимости от личных влияний со стороны местных властей. Третий вопрос касался соединения полиции с отдельным корпусом жандармов в центральных и местных учреждениях. Наконец, четвертым вопросом явилось согласование деятельности офицеров корпуса жандармов с деятельностью чинов судебного ведомства при дознаниях по политическим преступлениям, причем функции корпуса жандармов были сокращены и для них были восстановлены условия, намеченные судебными уставами Александра II. Когда эти проекты были разработаны, они были переданы пленуму комиссии, пересмотрены вплоть до мелочей и затем в качестве готового закона представлены на утверждение Думы.

Этот законопроект затрагивал также вопрос о подчинении департамента полиции и отдельного корпуса жандармов одному лицу, именно товарищу министра внутренних дел. На практике этот вопрос вызвал много недоразумений и обе эти должности, смотря по взгляду министра и по личности кандидата на этот пост, то соединялись вместе, то разъединялись. Вопрос этот был разрешен в законодательном порядке осенью 1905 года, когда была создана должность товарища министра внутренних дел, которому была подчинена полиция и жандармский корпус — таким товарищем министра был Д. Ф. Трепов.

В ноябре этого года пост этот, с назначением Трепова дворцовым комендантом, был уничтожен и управление полицией взял на себя министр внутренних дел П. Н. Дурново. Когда министром был назначен П. А. Столыпин, функции эти были переданы Макарову, но командование корпусом жандар-

мов было отделено и отдано другому лицу. Я заменил Макарова в то время, когда это разделение еще сохранялось.

В феврале 1909 г. Столыпин тяжело заболел. Когда он стал поправляться, я заговорил с ним об этом деле. Он был безусловно за соединение обеих этих должностей, и мы совещались о том, нужно ли провести в законодательном порядке данные генералу Трепову и высочайше утвержденные полномочия, или же можно просто опять соединить обе эти должности, когда меня назначат начальником корпуса. Первое было очень трудно, так как Трепов имел право непосредственного доклада царю, минуя министра, затем участвовал в совете министров и распоряжался самостоятельно кредитами, но Столыпин и я считали это недопустимым. Поэтому была принята вторая комбинация, тем более, что осуществить ее было нетрудно, ибо я прежде служил в военной службе и мой гражданский чин можно было переименовать в соответствующий военный. Единственное затруднение заключалось в том, что трудно было найти какую-нибудь службу для начальника корпуса жандармов барона Таубе.

Столыпин не любил откладывать раз задуманное дело, и приказал мне прямо от него поехать к генералу Сухомлинову и попросить у него какого-нибудь места для барона Таубе в военном ведомстве. Генерал Сухомлинов, выслушав меня, сказал, что не может исполнить просьбы министра, так как барон Таубе оставил службу в военном министерстве и перечислился в администрацию с чином полковника. Поэтому ему в крайнем случае можно предложить бригаду, что, конечно, далеко не соответствует занимаемому им теперь посту. Я передал Столыпину ответ Сухомлинова и он просил его лично по телефону как-нибудь устроить барона

Таубе. В тот же день вечером, когда я находился в заседании одной комиссии, меня позвали к телефону, и генерал Сухомлинов просил меня передать министру, что вследствие неожиданно изменившихся обстоятельств он в состоянии предоставить генералу Таубе соответствующее место. Именно, в этот день атаман донских казаков получил новое назначение, и военный министр может испросить высочайшее соизволение на назначение на его место генерала Таубе. 26 марта я был назначен начальником отдельного корпуса жандармов и переименован в генерал-майоры с оставлением шталмейстером. Пока исполнялись формальности, связанные с этим назначением, Столыпин уехал в Крым для лечения, так что я вступил в должность в его отсутствие и при его возвращении встретил его с рапортом уже в качестве начальника жандармерии.

Мое назначение дало мне возможность устранить и другой недостаток в корпусе жандармов, на который я обратил внимание, еще служа в департаменте полиции. Революционное движение изменило в последнее время свой характер. К нему присоединилось широкое социалистическое движение, которое, будучи направлено против правительства, создало почву для успешной работы революционных партий. Я был убежден, что против этого движения нельзя бороться полицейскими мерами и репрессиями и. что правительство должно основательно ознакомиться с ним, чтобы деятельной работой на почве назревающих реформ заблаговременно пойти навстречу некоторым закономерным желаниям и тем ослабить нападки на власть. Жандармские офицеры не были в состоянии исполнить это жизненное требование правительства, так как не обладали необходимым для этого образованием.

На Пасху Трусевич был назначен сенатором, и возник вопрос, кто будет избран его заместителем. Я предложил вице-директора Зуева, к которому министр относился неособенно доброжелательно и который должен был поэтому более двух месяцев ждать своего назначения. В июне я возобновил свое ходатайство и привел основания, почему я так настаивал на этом. Я доказывал, что Зуев в течение многих лет управлял административной и—что важнее всего—денежной частью департамента, так что с ним я буду совершенно спокоен в отношении правильности расходования казенных денег и надлежащей экономии. Последняя была особенно необходима в виду того, что Трусевич, уходя в отставку, оставил долг в 800.000 рублей. Зуев был безусловно честный человек, и, когда управлял политической частью департамента, хотя он ее и не любил, являлся противником провокации, что совпадало с моими взглядами. Когда министр указал мне, что Зуев не обладает достаточной энергией, я ответил, что непосредственное руководство политической частью департамента я оставляю за собою и что для меня было бы очень важно быть уверенным в совершенной преданности моего ближайшего сотрудника.

— Хорошо,—сказал Столыпин—,я уступаю вам, но вы будете мне отвечать за департамент полиции. За то предоставьте мне назначение вице-директора Я имею в виду на это место самарского вице-губернатора С. П. Белецкого. Я знаю его еще со времени моей службы в Гродне—он великолепный работник.

Назначения состоялись, и через два месяца министр спросил меня, доволен ли я Белецким. Я ответил, что нельзя было сделать лучшего выбора в отношении знаний и работоспособности. Я нашел

только, что Белецкий принадлежал к числу таких чиновников, которые незаменимы в должностях подчиненных, но немыслимы в роли самостоятельных работников.

Этим я заканчиваю строки, посвященные характеристике Столыпина, и должен добавить, что кроме уже указанных реформ, в его время были разработаны и закончены еще законопроекты о союзах и товариществах и закон о печати. Поэтому можно утверждать, что Столыпин поставил себе задачей осуществить все возвещенные в манифесте 17 октября принципы, и что эту задачу он считал для себя священной.

ГЛАВА XI.

Два месяца спустя начались поездки царя по России и за границей. Они продолжались в течение всей моей службы товарищем министра внутренних дел и отнимали у меня столько времени, что, перегруженный массой текущей работы, я был совершенно лишен возможности серьезно заняться организационной работой. Поэтому мне пришлось ограничиться частичными улучшениями замеченных мной недочетов в деле политического сыска.

Служба в отдельном корпусе жандармов заключалась, главным образом, в борьбе с революционным движением и была тесно связана с деятельностью департамента полиции, который распространил систему политического сыска на всю Россию.

Я не знаю, есть ли что-нибудь другое, что вызывало бы столько сомнений и нареканий у непосвященных, как идея политического сыска, которая нашла себе в обществе самое превратное толкование. Но и правительство точно также мало

задумывалось о настоящей сути этого дела. Оно представляло себе, что политический розыск—это смесь всевозможных злоупотреблений и преступлений со стороны занимающихся им лиц, тщательнейшим образом рассматривало все относящиеся сюда документы, ничего не находило преступного и вместе с тем, нисколько не старалось выяснить настоящий смысл и истинное значение системы розыска. Вот причина, почему я, стоявший более двух лет во главе этого дела, хочу ознакомить читателя с действительным положением вещей.

На свете нет правительства, начиная абсолютной монархией и кончая советской республикой, которое не вело бы из чувства самосохранения борьбу со своими политическими врагами, причем всякие действия инакомыслящих лиц, раз они направлены против правительства, считаются преступлениями. Таковые не только наказуются согласно уголовному закону, но, насколько возможно, и предупреждаются.

Правительству приходится иметь дело не только с фактами, но и с намерениями (планами). Очень трудно охранить себя от подобного рода преступлений, заблаговременно не узнавая о них, и этим об'ясняются трудности сыска, которые почти непонятны обыкновенному, среднему обывателю, так как политический сыск начинается не после, а до совершения преступления. Это непонимание сути дела особенно ярко проявилось в речах членов Думы после трагической смерти Столыпина. Правительство обвиняли в том, что оно пользуется услугами таких тайных агентов, как Богров, убивший Столыпина, находили это почти преступным и рекомендовали отдать политический розыск в руки молодых людей с высшим образованием. Такое предложение характерно и уничтожает в корне

сделанный правительству упрек в провокации, так как введение чиновников в революционные организации, стало быть, и в террористические группы, неминуемо повлекло бы за собою прямое возбуждение преступлений. Я уже не говорю, конечно, о том, что революционные партии должны были бы быть очень наивны, если бы принимали так просто в свою среду чуждые им элементы. Такая система сыска со стороны правительства именно и заслуживала бы вполне название „провокации".

Под „провокацией" надо, стало быть, понимать не желание ориентироваться относительно задуманных и предполагаемых преступлений, а нарочитую организацию их с целью достигнуть личных выгод или отличиться перед начальством. Поэтому нельзя считать провокацией те случаи, когда член какой-нибудь революционной партии, ставший сотрудником сыскного органа, сообщает только часть задуманного и имеющего быть совершенным, и умалчивает иногда об очень многом: он не может поступить иначе, так как немедленно будет убит. В том-то и заключается искусство политического сыска, чтобы по полученным, часто очень неполным и поверхностным, данным представить себе всю картину замышляемого преступления. Пользоваться сотрудником было бы только тогда непозволительно, если бы революционеры без его участия отказались от своих преступных замыслов. Я хочу пояснить слова эти следующим примером.

Допустим, что боевая организация имеет в виду совершить какой-нибудь террористический акт, в котором должен принять участие и данный сотрудник. Если его отсутствие может иметь своим следствием неудачу предполагаемого преступления, то руководители сыска поступают безусловно непозволительно, если оставят его в организации, то-есть

дадут возможность совершить задуманный террористический акт. Но если изъятие его из организации ни в каком случае не помешает исполнению революционного акта, то очевидно, что присутствие сотрудника в группе явится только необходимой предосторожностью. Итак, мой взгляд на провокацию можно формулировать следующим образом: если революционное движение является результатом лишь деятельности сотрудников, то служба их правительству недопустима, но если оно существует и без них, именно, если движение не зависит от этих сотрудников, а ведется другими лицами, то служба сотрудников является абсолютной необходимостью.

Обвиняя правительство в том, что оно пользуется сотрудниками, прежде всего указывают, что оставляя их безнаказанными за их принадлежность к революционным партиям, оно само нарушает закон и совершает преступление. Я понимал бы еще такое обвинение, если бы оно исходило от правительства, но так как оно идет из революционных кругов, оно мне совершенно непонятно.

Созданная Временным Правительством чрезвычайная следственная комиссия возбудила ряд подобных обвинений против прежних чиновников царского режима, классифицируя их преступления как „бездействие“ и „превышение власти“. Она дошла в своих обвинениях прямо до смешного. Мне, например, революционеры ставили в вину, что я упустил случай подвести под смертный приговор семерых их товарищей с известным эс-эром Слетовым во главе. Я не знаю, увидят ли когда-нибудь свет расследования этой комиссии, и потому не могу обойти молчанием этот случай.

Слетов прибыл с группой боевой организации в Петербург с целью убить царя. Переодетые извозчиками, террористы в течение долгого времени

наблюдали за выездами царя. В этой группе находился наш сотрудник. Когда мне стало известно об этих приготовлениях, я очутился пред следующей дилеммой: или, поступая по закону, приказать схватить членов боевой организации и предать их суду, причем я ни одной минуты не сомневался, что этим я нисколько не предупрежу новых покушений на царя—напротив, я был более, чем уверен, что на место схваченной явится новая боевая организация, которую раскрыть будет уже гораздо труднее и которая, стало быть, будет иметь уже гораздо более шансов на успешное выполнение своего преступного плана; или—предупредить как-нибудь террористов через сотрудника, что тайная полиция напала на их след и дать им возможность убежать за границу. Я избрал второй путь действий и исходил приэтом из тех соображений, что, по крайней мере, один из убежавших примет участие в будущем покушении и это даст возможность агентам сыска снова раскрыть заговор и вновь предупредить преступление.

Этими основными взглядами я руководствовался в своей системе политического розыска. Привлечение к делу тайных сотрудников из числа революционеров было уже до меня разрешено Трусевичем и указано как прием борьбы всем районным (местным) охранным отделениям. Это не только разрешалось, но даже предписывалось неудачной, плохо продуманной фразой о „возможном приближении сотрудников к центру революционных групп", фразой, которая может быть понята двояко: или сотрудник мог сам сближаться с центром, в зависимости от обстоятельств партийной жизни, или же руководители сыска должны были нарочно принимать известные меры для возможности и облегчения подобного сближения. Последнее было, по моему,

очень опасно, так как могло заставлять отдельных сотрудников стремиться к подобному сближению даже при помощи нарочно создаваемых преступлений. На это указывает, например, один из террористов в своих признаниях. Именно, убийца начальника петербургской охранки, полковника Карпова, показал на суде, что в целях возможного сближения с центром революционных групп им разрешались террористические акты против отдельных агентов и деятелей сыска и что во главе списка таких лиц находилось даже и мое имя. В своих инструкциях агентам сыска я неоднократно указывал, что участие сотрудников в каких бы то ни было активных действиях партии безусловно недопустимо. Я разрешал такое сближение только естественным путем, то есть, когда сама организация введет сотрудника в свою среду на место арестованного или выбывшего члена. Я знаю хорошо, что и департамент полиции в последнее время до революции работал подобным же образом.

Далее, я считал также недопустимой, так называемую, центральную агентуру, то-есть получение сведений или от сотрудников, находящихся в центре боевой организации, или же от тайных агентов, которые, независимо от местных агентов сыска, имеют сношения непосредственно с департаментом полиции. В первом случае невозможно допустить, чтобы член боевой группы не принимал активного участия в партийных делах и не становился бы сам иногда инициатором той или другой провокации.

Никак невозможно, например, представить себе в роли подобного тайного сотрудника организатора политических преступлений Савинкова. Какие сведения он мог бы сообщать департаменту полиции без того, чтобы не быть тотчас же

разоблаченным своей партией, или же, с другой стороны, без того, чтобы не принимать деятельнейшего участия в совершаемых преступлениях.

Характерным примером подобного положения является Азеф. В мою бытность товарищем министра он сотрудником не состоял, и до запроса в Думе я ничего не знал о нем, тем более, что в делах департамента полиции я не нашел ни малейших указаний на участие его в каких бы то ни было террористических актах, о чем Столыпин и сообщил в Думе. Этот пробел мне совершенно непонятен. Ведь лица, имевшие с ним дело, знали, какое положение он занимал в партии, и потому, после таких крупных террористических актов, как убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича, о подготовке которых Азеф не донес своевременно в департамент полиции, они должны были сказать себе: одно из двух—или они преувеличивали положение Азефа в партии, где он являлся не членом центрального комитета, а простым рядовым работником, не знавшим о замыслах и планах центрального комитета и потому не могшим донесть о них, или же они не должны были ни одной минуты сомневаться, что он принимал участие в этих террористических актах, и тем не менее продолжали пользоваться его услугами. Во всяком случае, было бы более целесообразно и правильно, если бы прежний директор департамента, Лопухин, приказал арестовать Азефа, чем потом вступать по поводу его в беседу с Бурцевым. Точно также кажется странным, как напал на эту мысль преемник Лопухина Трусевич, который пользовался услугами Азефа.

Последнее обстоятельство говорит именно за недопустимость прямых, непосредственных сноше-

ний департамента полиции с тайными агентами. Нельзя при этом ссылаться на то, что при таком порядке департамент полиции может проверять работу местных охранных отделений. Ибо совершенно неизбежно или департамент должен всецело отдать себя в руки сотрудников, не имея возможности проверять их сообщений, или же у него будут происходить постоянные недоразумения с охранными отделениями.

В сыскном деле нельзя руководствоваться одним лишь письменным материалом: здесь играет роль личное впечатление, какое производит тот или иной сотрудник на руководителей сыска; но впечатление это не может быть сообщено местным органам, если дело ведется через департамент. Именно все эти соображения и заставили меня быть против центральной агентуры в той или другой форме.

Точно также запретил я чрезмерные, выходящие из всяких границ награждения сыскных офицеров за доставленные ими сведения, как бы важны последние ни были. Этим я имел в виду устранить всякий соблазн к обходу циркуляров, строго запрещавших всякую провокацию. Могу утверждать, что в мое время не было сознательной провокации в работе департамента, а в тех единичных случаях, которые я застал еще при вступлении моем в должность, я принужден был уволить виновных. Даже незначительные случаи провокации по неопытности и близорукости начальников губернских жандармских управлений я не оставлял без соответствующих репрессий.

Величайшую трудность, с которой приходилось бороться в сыскном деле, представляло слишком большое доверие охранных отделений к своим тайным агентам. На это указывает и то, что я только

что сказал по поводу Азефа. Ибо нужно было быть слепым или находиться под гипнозом какого-то безграничного доверия, чтобы ни разу не проверить его деятельность и не испытать его. Такой гипноз непонятен широкой публике, как я сам убедился в этом, например, при ее суждении о роли Богрова в убийстве Столыпина. Об этой роли существовали самые разнообразные догадки, доходили даже до того, что подозревали охранное отделение в преступном соучастии. Я хочу рассеять возможность подобного рода добросовестного заблуждения и потому расскажу эту историю, как она произошла в действительности.

Всякая деятельность постепенно приучает человека к таким вещам, которые у непривычного субъекта вызывают волнение и даже отвращение. Так, например, помощники прокуроров, судебные следователи и молодые врачи почти падают в обморок, когда они в первый раз присутствуют на вскрытии трупа. Для судебного врача, напротив, вскрытие есть нечто до того обыкновенное, что не производит на него никакого впечатления. Точно так же неспециалиста пугает обращение со взрывчатыми веществами, между тем как специалиста-химика приготовление какого-нибудь особенного, сильно действующего состава наполняет чувством гордости и даже высшего энтузиазма. Чиновники охранных отделений, имеющие постоянно дело с сотрудниками, не только привыкают к ним, но даже становятся близкими им людьми. Я хотел бы даже утверждать, что если в некоторых случаях и наблюдается подобный недостаток доверия к сотруднику, то это вызывает известную нерешительность с его стороны по отношению к руководителю сыска. Наоборот, практика показывает, что там, где сотрудники пользуются полным доверием, они готовы

нередко даже жизнью своею жертвовать для спасения руководителя сыска. Несмотря на множество предупреждений со стороны департамента полиции, ничто не могло искоренить чрезмерное доверие органов сыска к тайным агентам, за что многие из их руководителей поплатились даже жизнью.

Убийство начальника петроградского охранного отделения, полковника Карпова, его сотрудником Петровым (Воскресенским) породило в свое время в обществе и в прессе очень много слухов. Общественное мнение возложило ответственность за это преступление на меня и потребовало после революции возбуждения против меня судебного преследования. Весною 1909 года царь предпринял ряд поездок по России и за границей. В сыскные органы поступило множество сообщений о том, что революционные партии замышляют покушение на его жизнь. Департамент полиции и подчиненные ему органы были очень недостаточно осведомлены о таких планах и замыслах террористических групп, и это обстоятельство вызвало в Столыпине и во мне серьезные опасения. За некоторое время до этой поездки начальник саратовского губернского жандармского управления сообщил в департамент, что находящийся в местной тюрьме революционер Петров, осужденный за принадлежность к боевой организации, согласился дать сведения охранному отделению, если его освободят из тюрьмы с его единомышленником, некиим Бартольдом. У меня не было выбора, и я считал своею обязанностью использовать все средства для предупреждения цареубийства.

Я доложил об этом Столыпину и, получив его согласие, приказал дать возможность убежать Петрову и Бартольду из тюрьмы. Конечно, это было

против всякого закона, и об этом заявили к моему удивлению революционеры, причем меня упрекали, между прочим, в том, что я не испросил для освобождения Петрова высочайшего соизволения. Конечно, такое соизволение было бы дано по докладу Столыпина, но, во-первых, это исключило бы совершенно всякую возможность получить от Петрова какие бы то ни было сведения и, во-вторых, это самым резким образом противоречило бы моему основному правилу ни в каком случае не вмешивать царя в дела сыска и охраны.

Я передал руководство Петровым полковнику Карпову и рекомендовал ему соблюдать с ним особенную осторожность. Такую же осторожность я соблюдал по отношению к Петрову при отсылке его за границу, для чего откомандировал вместе с ним особого офицера.

Сообщения Петрова всегда возбуждали во мне сомнения, и я постоянно повторял Карпову при всяком докладе его, что необходимо их по возможности проверять и не полагаться вполне на Петрова. Путешествия царя в Полтаву, а потом в Крым и Италию, окончились благополучно. Его пребывание в Ливадии затянулось, и он должен был вернуться в Петербург только в середине декабря, причем по дороге была еще незначительная остановка в Москве. Я должен был поехать в конце ноября в Крым, чтобы распорядиться там на счет мер охраны на обратном пути, затем должен был поехать в Москву и там ждать царя. Накануне моего от'езда Карпов опять доложил мне о сообщениях, поступивших от Петрова, но они показались мне очень невероятными, хотя Карпов и уверял меня в искренности и надежности этого сотрудника. Этот разговор повторился у нас на другой день в вагоне незадолго до моего от'езда.

— Я ручаюсь за Петрова своей головой, — говорил мне опять Карпов.

— Смотрите, не потеряйте ее,—был мой ответ.

В Крыму я получил от Карпова телеграмму с новыми сведениями от Петрова, которые меня окончательно убедили в лживости последнего. Я еще раз повторил это в своей ответной телеграмме Карпову и приказал ему арестовать Петрова. В Москве меня вызвал по телефону из Петербурга Столыпин и сообщил, что в виду важных сведений, полученных от директора департамента полиции, он не решается сам принять предложенных им мер и потому посылает ко мне в Москву для точной информации вице-директора С. К. Виссарионова. Последний, по приезде, сообщил мне, что в виду крайней важности сведений, которые имеет сообщить Петров, Карпов просит меня разрешить тайно присутствовать при беседе с ним директору и вице-директору департамента в квартире, специально нанятой для конспиративных целей. Я назвал этот план прямо безумным, спросил, почему Петров не арестован, когда я приказал арестовать его, и велел обо всем доложить министру внутренних дел. То же самое я сказал Столыпину по телефону и просил его не принимать никаких чрезвычайных мер до моего возвращения на следующий день.

На следующее утро меня разбудили сообщением, что Карпов убит Петровым в конспиративной квартире.

Другим примером является убийство начальника радомского губернского жандармского управления сотрудником, которого он принял в рабочем кабинете у себя на частной квартире, хотя за несколько дней до этого было сообщено предписание директора департамента полиции, требовавшее величайшей осторожности в обращении с тайными аген-

тами. Я получил телеграмму об этом в Риге, где был занят принятием мер охраны царя, имевшего прибыть на открытие памятника Петру Великому. Одновременно я получил приказ от министра внутренних дел с предложением поручить представителю департамента ревизию сыскных мер в районе Вислы, а самому отправиться по окончании рижских торжеств в Варшаву.

По прибытии моем в Варшаву вице-директор департамента, Виссарионов, ознакомил меня с результатами своей ревизии охранных мер, произведенной им, после чего я велел созвать в Варшаву начальников всех охранных отделений Польши и с ними обсудил его доклад в особом заседании под моим председательством в присутствии помощника варшавского генерал-губернатора генерала Л. Н. Утгофа. Я не могу утверждать, что ревизия эта обнаружила яркие случаи провокации, но некоторые обстоятельства ясно указывали на нее, как об этом можно было судить по черезчур оживленной деятельности некоторых тайных агентов. От имени министра внутренних дел я заявил генералу Утгофу в присутствии всех жандармских офицеров, что виновные в провокации, если таковая не прекратится, понесут суровое наказание.

Наконец, примером чрезмерного доверия к тайному агенту может служить и убийство П. А. Столыпина. Относительно его могу сказать, что начальник киевской охраны полковник Кулябко отнесся со слишком большим доверием к Богрову, когда допустил его в театр, где находился Столыпин. Только после моего приказания он велел ему отправиться домой, причем не позаботился сопровождать его или по крайней мере распорядиться, чтобы его вывел из театра на улицу кто-нибудь из его чиновников.

Слишком доверяя Богрову и оставив его одного перед наружными дверьми вестибюля, он дал ему возможность опять проникнуть в зрительный зал и совершить убийство Столыпина.

Все эти приведенные мною случаи показывают, что при таких отношениях к сотрудникам руководители сыска или жандармские офицеры подвергают смертельной опасности не только других лиц, но и свою собственную жизнь.

В тесной связи с этим стоит вопрос, можно ли оставлять сотрудников в тех местах, где находятся лица, подлежащие охране. Со связанной с этим опасностью были ознакомлены все сыскные офицеры с самого начала моей службы, так как я требовал безусловно, чтобы—если в известных случаях необходимо присутствие сотрудника для предупреждения какого-нибудь революционного акта,—жандармский офицер или руководитель сыска ни на одну минуту не оставлял его одного и не спускал с него глаз. Целесообразность этого правила подтверждает случай с тем же самым Кулябко в Киеве во время предполагавшегося на меня и генерала Сухомлинова покушения в концертном зале. Тот самый полковник А. И. Спиридович, которого также обвиняли в допущении в киевский театр Богрова, еще задолго до киевских событий, потребовал немедленного удаления сотрудника, назначенного петербургской охранкой для сопровождения царского автомобиля.

В декабре 1909 года, до предположенного пребывания царя в Москве, сыскные органы получили серьезные сведения о готовящемся на него покушении, которое должно быть приведено в исполнение, когда он будет находиться в пути. Сведения даже указывали на определенную группу лиц, из которой многие были знакомы одному из со-

трудников. Присутствие последнего на улице было поэтому безусловно необходимо. Я доложил об этом Столыпину и получил его согласие, причем предупредил, что с этим сотрудником вместе я посылаю чиновника и несколько опытных тайных полицейских петербургского охранного отделения, которые не спустят с него глаз ни на одну секунду.

При полицейской системе сыска меня озабочивала всегда трудность ориентировки относительно размеров революционной пропаганды и настроения во флоте и в армии. Еще были свежи в памяти восстания матросов в Свеаборге и Кронштадте, бунт матросов черноморского флота, организованный лейтенантом Шмидтом, и восстания в войсках в Полтаве, Киеве и Туркестане.

Царь запретил всякие тайные наблюдения в войсковых частях, потому что считал совершенно достаточным обычный надзор командного состава, хотя такой надзор далеко не достигал своей цели. Начальники многих войсковых частей отчасти не допускали возможности революционного движения в них, отчасти не умели организовать надзор, но больше всего боялись отступить от стереотипного „все обстоит благополучно". При таких условиях нельзя было думать о тайном наблюдении за всеми вообще солдатами в казармах, и войска должны были находиться под надзором людей, которые так или иначе приходили с ними в соприкосновение.

По моему предложению был разработан проект открыть вблизи казарм целый ряд небольших лавок, где сидельцами будут агенты тайной полиции для того, чтобы через них быть в курсе настроения, существующего в войсках. Но этот проект был выполнен лишь отчасти, так как не было средств осуществить его целиком.

Наконец, я категорически воспретил всякое наблюдение за учащимися в средних учебных заведениях.

Для преобразования всей системы политического сыска мне нужно было много времени. Я вообще не мог произвести никакой планомерной работы в этом направлении, так так установление охранных мер при частых поездках царя отнимало у меня все время. По этой же причине мне не удалось изменить инструкции для политических агентур, так как я был того мнения, что это потребует продолжительной и серьезной работы в тесном контакте с местными сыскными отделениями. Мне думается, что если бы инструкцию эту разработать на-спех и кое-как, то это не только не улучшило, а ухудшило бы дело. Такого же мнения были, повидимому, и все мои преемники, так как, когда я в октябре 1916 года заменял временно товарища министра внутренних дел при министре А. Д. Протопопове и запросил, в каком состоянии находятся инструкции, подлежащие переработке, мне ответили, что работы эти еще не закончены и находятся у жандармского генерала П. К. Попова. Я приказал ему кончить эту работу в течение одного месяца. Результата я не знаю, так как в конце ноября был согласно моей просьбе, уволен.

Мои взгляды на систему политического сыска и ее практическое проведение в жизнь были подвергнуты серьезному практическому испытанию.

Волнения 1905 и 1906 г.г. и вызванное ими страшное усиление работы всех чинов министерства внутренних дел при восстановлении спокойствия и порядка помешали царю оставить столицу и совершить поездки по России, тем более, что поездки эти были далеко не безопасны вследствие усилившейся деятельности боевых организаций. В 1909 году,

по наступлении сравнительного спокойствия, поездки царя возобновились и приняли постоянный характер. За время моей службы на посту товарища министра внутренних дел с 1 января 1909 г. до 19 ноября 1911 г. царь присутствовал на торжествах в Полтаве, Риге, Киеве, Овруче и Чернигове, провел несколько месяцев осенью в Крыму, посетил итальянского короля в Ракониджи, почти два месяца прожил в Гессен-Дармштадте и ездил в Потсдам навестить императора Вильгельма. Все эти поездки требовали крайнего напряжения всех сил охранной полиции. Я не имею в виду описывать здесь оффициальную сторону этих путешествий и празднеств, которые в свое время были описаны газетами всего мира. Я здесь хочу говорить только о работе, вызванной этими путешествиями, работе, которая повлекла колоссальные изменения во всей системе охраны.

Мы уничтожили центральную агентуру. Сведения, получаемые от второстепенных сотрудников, не могли считаться достаточным основанием, которое гарантировало бы безусловно безопасность монарха. Мы должны были усматривать центр тяжести принимаемых мер во внешней охране, одним из самых существенных проявлений которой являлась тщательная проверка населения как на тех улицах, по которым должен был проезжать царь, так и в тех местах, где он проживал. Кроме того являлось безусловно необходимым усиление местных полицейских сил отрядами столичной полиции. В местах, где это было возможно, полиция усиливалась еще отрядами, составленными из местного населения, которое охотно шло на это. Мне думается, что обе эти меры имели огромное значение, так как все путешествия сошли благополучно, и порядок нигде не был нарушен. Я испытал чувство

нравственного удовлетворения, когда узнал, какое облегчение и какую радость эти путешествия доставляли царю. Настроение населения было повсюду очень приподнятое, и народ всюду принимал своего монарха с величайшим энтуазиазмом. Правительства иностранных государств охотно шли навстречу мерам, признанным ими необходимыми. От квестора города Турина, которому была вверена охрана замка Ракониджи, откомандированные мною чины получили полезные указания для проверки населения. Особенное внимание и услужливость были нам оказаны немецкими властями, а расположение французских властей выразилось в том, что мне был дан большой крест Почетного Легиона. Легче всего было поддерживать порядок в Риге, вследствие особой дисциплинированности масс и добровольного сотрудничества всех местных общественных организаций. Пребывание в Крыму и в Дармштатде было настоящей поправкой для царя и его семьи. Общественное мнение за границей выражало много симпатий царю, только левая печать вносила некоторый диссонанс, но с ней можно было все же в конце концов договориться, правда, не на почве полицейских мероприятий.

Цикл высочайших поездок был, к сожалению преждевременно прерван убийством Столыпина в Киеве, удавшимся вследствие неисполнения разработанной мной системы сыска.

ГЛАВА XII.

5 июня 1913 г. обер-прокурор уголовно-кассационного департамента правительствующего сената об'явил мне чрез полицию, что на возбужденное против меня и и. д. вице-директора департамента по-

лиции статского советника Веригина обвинение последовала высочайшая резолюция. Нас обвиняли в превышении власти и бездействии, проявленных нами при принятии мер охраны во время киевских празднеств в конце августа и в начале сентября 1911 г., следствием чего явилось убийство членом революционной партии Богровым председателя совета министров П. А. Столыпина, имевшее место в киевском городском театре 1 сентября 1911 года. На представленном государю докладе о сем 1 департамента Государственного Совета его величеству благоугодно было собственноручно начертать:

„Дело генерала Курлова, полковника Спиридовича и статского советника Веригина оставить без последствий".

В этот же день я отправил дворцовому коменданту генерал-ад'ютанту В. А. Дедюлину телеграмму, в которой просил его повергнуть к стопам его величества мою безграничную благодарность и уверение, что готов служить его величеству так же, как служил в течение 35 лет его деду и отцу. Два дня спустя дворцовый комендант вернул мне в письме мою телеграмму, на которой рукой его величества было написано:

„Благодарю. В верности службы генерала Курлова я никогда не сомневался".

Так закончились для меня тяжелые полтора года испытаний.

К несчастью, и в этот раз оправдалась старинная поговорка: „жалует царь, да не жалует псарь". Когда я обратился к министру юстиции с просьбой опубликовать эту высочайшую резолюцию, то получил в ответ, что подобные опубликования не предусмотрены законом. Таким образом, правительство Коковцова считало возможным разрешить к печати оскорбительные и позорящие меня све-

дения, но считало невозможным допустить в той же печати столь важное фактическое сообщение, хотя законом это и не воспрещалось. Не нашлось, стало быть, закона, который дозволил бы опубликовать правду, высказанную в царской резолюции.

В одном из первых заседаний Думы Милюков выступил по поводу убийства Столыпина с зажигательной речью, в которой, между прочим говорил, что это печальное событие имело место, несмотря на то, что генерал Курлов истратил на принятие чрезвычайных мер охраны в Киеве 900 тысяч рублей народных денег. В зале заседаний присутствовал и председатель совета министров В. Н. Коковцов, который—заметьте!—одновременно был и министром финансов. Он не счел, однако, нужным раз'яснить, что он, министр финансов, на охрану во время путешествий царя в Белгород, Киев, Чернигов и Овруч, а также во время пребывания его в течение двух месяцев в Крыму, выдал всего 300.000 руб. из коих я еще вернул 37 рублей. Из представленного мной подробного счета и оправдательных документов видно, что Милюков для украшения своей речи увеличил эту сумму втрое, а министр финансов, исходя, вероятно из тех же соображений, что и министр юстиции, то-есть, что для восстановления истины требуется особый закон, облек себя в тогу величественного молчания и этим молчаливо подтвердил слова Милюкова.

В настоящее время слова мои подтверждаются протоколом Государственного Совета; в этом протоколе содержатся об'яснения министра внутренних дел, в которых он подтверждает сообщенные мной цифры и говорит, что из отпущенных мне сумм не израсходовано ни одной копейки без того, чтобы она не была удостоверена соответствующим оправдательным документом.

Весною 1911 г. было решено, что в конце августа или в начале сентября царь с семьей посетит Белгород, где предстояло открытие мощей святого Иосафа, затем Киев, где произойдут маневры, Чернигов и Овруч. После этого царь должен был поехать в Крым, где предполагал остаться до начала декабря.

Столыпин выхлопотал высочайший приказ о назначении меня высшим начальником всей охранной службы, причем мне становились подчиненными все соответствующие чины, в каких бы министерствах они ни состояли, в то время, как я сам подчинялся непосредственно дворцовому коменданту и через него министру двора.

По примеру прошлых лет я тотчас же уехал, чтобы на месте обсудить и принять те меры, которые окажутся необходимыми.

Я выехал в сопровождении чиновников министерства внутренних дел, которых я пригласил с разрешения Столыпина, а дворцовый комендант откомандировал в качестве своего представителя полковника Спиридовича.

Кажется, все было обсуждено и вырешено. Поэтому я был очень удивлен, когда вечером, накануне от'езда, получил письмо от Столыпина, в котором он между прочим писал мне: „Киевский генерал-губернатор сообщил мне, что считает оскорбительным для себя то, что высший надзор и наблюдение за охраной государя во время его пребывания в Киеве отняты у него и переданы Вам. В этом он усматривает признание его негодным для того поста, который он занимает. Я очень хорошо знаю, что Вы никогда не задевали во время этих поездок самолюбия местных представителей власти, равно как никогда не стремились играть приэтом роль высшего начальства. И потому я

вполне уверен, что Вы и в настоящем случае сумеете устранить возможное недоразумение с генерал-ад'ютантом Треповым. Надеюсь получить от Вас сообщение, что в Киеве все сошло благополучно. Я далек от мысли допустить, чтобы при охране государя императора могли возникнуть на почве самолюбия какие-либо трения между высшими чинами вверенного мне министерства".

На следующий день я уехал в Белгород и Крым, а оттуда — в Киев. Встретивший меня на вокзале киевский губернатор камергер Гирс спросил меня от имени генерал-губернатора, в котором часу я смогу принять его завтра. Этот вопрос выражал собою, конечно, скрытое недовольство генерала Трепова, о котором мне писал Столыпин, и потому я попросил А. Н. Гирса передать Ф. Ф. Трепову, что я, как приезжий, почту для себя особенным удовольствием лично представиться начальнику края завтра около 11 часов утра.

На другой день утром я посетил киевского митрополита Флавиана и командующего военным округом генерал-ад'ютанта Иванова, после чего, часу в 11 утра, вошел в кабинет генерала Трепова, тот самый кабинет, в котором я провел два месяца в 1906 и 1907 г.г., когда по высочайшему повелению исполнял обязанности киевского губернатора.

Я знал и прежде Ф. Ф. Трепова и наши отношения могли быть названы хорошими. Он любезно встретил меня, но с первых же слов заявил, что готов исполнять мои распоряжения, как приказания своего „начальства".

Вместо ответа я показал ему письмо Столыпина и сказал, что возложенное на меня высочайшим повелением поручение ни в каком случае не умаляет его прав, как начальника края, что я отнюдь не буду играть никакой роли во время празднеств

и что, наконец, в пределах вверенного ему края я не приму никаких мер без того, чтобы предварительно не заручиться его согласием. Единственная цель этого высочайшего приказа, данного по просьбе министра внутренних дел, заключается именно в том, чтобы устранять всякие местные трения, которые, как показала практика, всегда возникают в подобных случаях.

В то же время я показал Трепову составленные мною письма на его имя, которые, в случае согласия его, я готовился немедленно отослать Столыпину для подписи. В этом письме точно указывались от имени премьер-министра границы моих полномочий, которые я только что изложил устно. Письмо заканчивалось следующими словами: „Вместе с тем я приказал генералу Курлову ни в коем случае не принимать никаких мер, не имея на то согласия вашего высокопревосходительства".

Трепов вполне согласился с этим письмом. Сказав ему, что я сегодня же отошлю его для подписи Столыпину, я попросил его, не теряя времени, созвать сегодня же под своим председательством совещание высших чинов и представителей общества, которые явятся участниками предстоящих торжеств.

В этом заседании была, между прочим, избрана особая комиссия под председательством киевского губернатора для распределения билетов на торжественный спектакль в высочайшем присутствии, имевший быть 1-го сентября. По моему предложению, к этой комиссии был причислен полковник Спиридович, как представитель дворцового коменданта, и статский советник Веригин, как лицо, уполномоченное мной.

При всех царских поездках революционная печать и сообщения сыскных органов всегда указывали на попытки деятелей подполья совершить ка-

кой-нибудь террористический акт, направленный против государя. Такие планы особенно ярко обнаруживались, как только становилось известным предполагаемое путешествие государя. В то время мы располагали сведениями, что руководителем всех террористических актов является Савинков, один из самых видных революционеров, глава боевой организации социал-революционной партии.

Но какими, спрашивается, силами располагал я, когда должен был вступить в борьбу с мобилизованной революцией? Главным органом борьбы должно было бы быть, во-первых, киевское охранное отделение, но оно и в спокойное, не омраченное никакими событиями, время не было в курсе деятельности местных противоправительственных организаций, и, во-вторых, совершенно слабое жандармское управление, на обязанности которого было только внешнее наблюдение за деятельностью революционных партий в губернии. Само собою разумеется, что наличный состав этих учреждений должен был быть усилен прикомандированными сыскными агентами из других городов, но такое усиление нельзя было признать достаточным. Для точного и подробного выяснения общей картины, а также многих частностей террористических планов, безусловно необходима была интенсивная работа на месте всех сыскных органов, и я мог послать в Киев только незначительное количество чиновников, которые, к тому же, были недостаточно знакомы с местными условиями. Единственным плюсом являлось сотрудничество такого выдающегося знатока политического розыска, каким был полковник Спиридович, которого семейные связи с начальником киевского охранного отделения совершенно исключали всякую возможность каких-либо трений между ними на почве совместной работы.

Подполковник Кулябко приобрел особенный опыт в охранной службе во время прежних поездок царя. В качестве начальника киевского охранного отделения, деятельность которого распространялась на весь Юго-Западный край, он стоял во главе полицейской охраны во время пребывания царя в Полтаве в 1909 г.; в 1910 г. я сделал его начальником временного охранного отделения в Риге, так как здесь не было такого учреждения.

По окончании всех подготовительных работ, я приказал подполковнику Кулябко тщательно наблюдать за вожаками революционных организаций и особенно за теми лицами, которые вновь появятся на революционном горизонте Киева. После этого я уехал в Петербург.

14 августа я вернулся в Киев, чтобы ждать здесь прибытия царя. В это время я наблюдал за работой офицеров отдельного корпуса жандармов и полиции, которые собрались к тому времени в Киеве. В ночь на 15 августа со мной приключился легкий нервный удар, длившийся около 10 дней, в течение которых я не оставлял комнаты.

Несмотря на болезнь, я не прервал начатой работы ни на один час. Я призывал к себе чиновников и офицеров, выслушивал их доклады и отдавал соответствующие распоряжения.

В один из этих дней, во время обычного доклада, подполковник Кулябко сообщил мне, что накануне вечером к нему совершенно неожиданно явился прежний сотрудник киевской охранки Богров, который уже оставил эту работу, но которого сведения и сообщения были всегда очень ценны и не возбуждали никаких сомнений. Кулябко придавал возвращению Богрова в это время большое значение.

По словам Кулябко, Богров сообщил ему, что на-днях пришел к нему известный партийный ра-

ботник, которого он знал только по имени и отчеству, и рассказал, что партия готовится совершить большой террористический акт в последние дни пребывания царя в Киеве, когда охранные агенты будут несомненно слишком утомлены своей работой. Партийный работник просил его о поддержке от имени партии. Затем Богров прибавил, что боевая организация, с целью скрыть свои следы, предполагает уехать на время в Кременчуг, а оттуда по Днепру вернуться в Киев. Богров должен был обещать держать для них наготове речную моторную лодку и приготовить им надежную квартиру.

Кулябко спрашивал меня, какой ответ дать Богрову. Я безусловно запретил ему предпринимать что-либо для подготовки моторной лодки и разрешил приготовить только для них помещение в квартире какого-нибудь агента охранного отделения.

В то же время я приказал начальнику охранного отделения откомандировать в Киев находящегося в его распоряжении ротмистра Муева с нужным числом агентов, для наблюдения на вокзале и пристанях. Своему секретарю я продиктовал телеграммы директору департамента полиции и начальнику петербургского охранного отделения, в которых приказал им тщательно и без замедления „разработать“ сведения, сообщенные Кулябкой, и протелеграфировать мне результаты.

За весь следующий день от Богрова никаких новых дополнительных сведений не поступало; равным образом, я не узнал ничего ни из Петербурга, ни от ротмистра Муева.

О полученных данных и о принятых на основании их мерах я доложил Столыпину по его приезде в Киев, причем министр сказал мне, что все эти сведения, по его мнению, преувеличены.

Хотя Столыпин отнесся скептически к упомянутым сообщениям Богрова, сильно меня обеспокоившим, я настоял, тем не менее, на том, чтобы он разрешил откомандировать в Киев одного из офицеров его личной охраны, ротмистра Дексбаха. При этом, я указал, что прикомандированный к нему в Киеве капитан Есаулов, как строевой офицер, совершенно незнаком с охранной службой. Кроме того, на предстоящих празднествах все внимание чинов охраны должно быть обращено на царя и его семью, чего и сам Столыпин категорически постоянно требовал. Столыпин решительно отказал мне в этом, находя, что принятые мною меры для охраны генерал-губернаторского дома, в котором он остановился, слишком преувеличены.

На следующий день в Киев прибыл царь со своим семейством.

Киевское население, толпившееся на всех улицах, по которым государь следовал с вокзала во дворец, а также на Софийской площади, встречало монарха с редким воодушевлением. Полицейские команды с трудом сдерживали толпу, несмотря на присутствие войск, выстроенных шпалерами вдоль улиц. Это воодушевление произвело на царскую фамилию огромное впечатление. Когда я, сопровождая царский кортеж, прибыл ко дворцу, дворцовый комендант генерал Дедюлин передал мне точные слова государя:

— Скажите Курлову, чтобы он уменьшил охрану.

Следующий выезд царя должен был произойти около часу дня в Киево-Печерскую лавру. Я сказал Дедюлину, что мне, как бывшему киевскому губернатору, хорошо известен характер киевского простонародья, его экспансивность и полнейшая недисциплинированность, и что потому, когда войска не будут стоять шпалерами на улице, умень-

шение охраны во время выезда государя может повести к большому нарушению порядка, причем возможны и человеческие жертвы, когда толпа бросится к царской коляске.

— Уберите, по крайней мере, конных жандармов,—посоветовал мне Дедюлин.

Я отдал соответствующий приказ эскадронному командиру, но когда поехал к лавре, чтобы встретить царя, то к ужасу своему заметил, что улицы были буквально переполнены народом, и достаточно было одного движения, чтобы вся эта масса бросилась вперед, причем не было бы, конечно, никакой возможности сдержать ее.

Ворота Киево-Печерской лавры образуют по направлению к улице небольшой полукруг. Государь благополучно прибыл к воротам, и здесь встретил его с крестом митрополит Флавиан. Царь остановился, чтобы выслушать его, к сожалению, слишком длинное приветственное слово. Толпа бросилась вперед, чтобы лучше рассмотреть государя, так что дворцовому коменданту, мне и некоторым свитским с трудом удалось дать возможность царю войти в ограду. Генерал Дедюлин убедился, что я был прав, когда был против ослабления мер, и что впредь опасно повторять такие опыты. Поэтому мы решили опять вызвать эскадрон жандармов и при их содействии мне удалось настолько восстановить порядок, что государь мог свободно проехать во дворец. Экипаж его двигался все время шагом среди густой толпы народа. Всякое движение последнего было особенно опасно в этом месте, так как здесь по сторонам дороги были крутые обрывы.

Прочие празднества прошли вполне благополучно и при полном порядке. На государя особенное впечатление произвел прием его городским самоуправлением в Купеческом саду. Сад этот на-

ходится на правом, очень крутом берегу Днепра, и вид, открывавшийся с этой высокой террасы на блестящую иллюминацию, был действительно восхитителен.

Проводив царя, я вернулся к себе на квартиру, чтобы немного отдохнуть, так как сам в течение нескольких часов сдерживал толпу и очень устал. Кроме того, я еще не вполне оправился после своей болезни. Не успел я заснуть, как меня разбудили и доложили, что Кулябко желает немедленно со мной говорить по очень важному и неотложному делу. Я тотчас же принял его, и он доложил мне следующее: к нему вечером опять приходил Богров и рассказал, что у него был тот член партии эс-эров, который уже и раньше являлся с предложением содействовать приезду боевой организации из Кременчуга, и сообщил, что план действия революционеров теперь изменился. Боевая организация находится уже здесь в Киеве, и в числе ее членов есть неизвестная ему женщина, привезшая с собой динамит и бомбы. Завтра, в 12 часов дня она придет на его, Богрова, квартиру, где остановился приезжий, чтобы сообща с ним обсудить дальнейший план действий. По словам Богрова, боевая организация замышляет убийство не царя, а Столыпина или министра просвещения Л. А. Кассо.

Я сказал Кулябке, чтобы он распорядился о тайном наблюдении за квартирой Богрова, для чего назначил бы самых опытных агентов, и чтобы он сам завтра утром, перед отъездом царя на маневры, сообщил все эти сведения генерал-губернатору. В то же время я приказал ему передать Спиридовичу, чтобы он обо всем этом довел до сведения дворцового коменданта. С своей стороны я немедленно по телефону сказал Джунковскому, что вследствие тех данных, которые изложит ему еще до отъезда царя полков-

ник Спиридович, я лишен возможности сопровождать государя на маневры. Об отдыхе нечего было и думать.

В 8 час. утра я позвонил секретарю Столыпина и просил его доложить, что я должен немедленно говорить с его шефом. В 9 часов я уже был у Столыпина. Я ознакомил его подробно с существенной частью доклада Кулябки и добавил, что в случае, если до послеобеденных часов не получу более подробных сообщений, то предполагаю принять чрезвычайные меры, дабы обезопасить возвращение государя с маневров, его поездку на ипподром, в театр и, наконец, возвращение во дворец.

Что касается театра, то в этом отношении я был спокоен, так как билеты были распределены комиссией только знакомым лицам, а для наблюдения в самом здании театра были назначены 15 офицеров и 92 агента придворной охранной стражи и киевского охранного отделения. Кроме того, я попросил Столыпина не занимать в этот вечер своего места в первом ряду кресел, а сесть в ложу генерал-губернатора, но он это отклонил.

В то же время я позвонил директору департамента министерства народного просвещения Вестману и попросил его предупредить Кассо об опасности и сказать ему, чтобы он ехал только в том автомобиле, какой я ему пошлю. Само собою разумеется, что я усилил охрану генерал-губернаторского дома, где жил Столыпин, и предписал жандармскому офицеру, дежурившему там, тщательно контролировать тех лиц, которые пожелают видеть министра.

Здесь я должен подробнее остановиться на разговоре со Столыпиным, который отлично характеризует и об'ясняет создавшееся после его смерти

положение. Я сказал Столыпину, что по возвращении в Петербург буду просить его разрешения произвести некоторые перемены в личном составе сыскных учреждений, на что он мне сказал:

— Это вы уж сделаете без меня...

Когда я выразил свое изумление этим словам, он продолжал:

— Вы, вероятно, по ходу вещей и сами уже заметили, что мое положение поколеблено и что я из высочайше разрешенного мне до 1 октября отпуска уже не вернусь в Петербург ни председателем совета министров, ни министром.

И действительно, имелись некоторые признаки, о которых говорил Столыпин. Лучшим и самым чувствительным барометром для определения положения всякого крупного должностного лица является неуловимое на первый взгляд, но ясное для всякого более или менее опытного человека, отношение к нему придворных кругов. Я вспоминаю, как рабски держалась толпа их пред всесильным председателем совета министров во время поездок царя в Полтаву и Ригу, как почтительно склонялась она перед ним в Петербурге. Совсем иное было в Киеве. Здесь для Столыпина не нашлось места в придворных экипажах, сопровождавших царский кортеж, и он должен был ехать в наемной коляске, что очень затрудняло его охрану.

3 сентября царь собирался ехать на пароходе в Чернигов. Для меня не было никаких сомнений, что среди лиц, которые будут сопровождать его, первое место должно принадлежать председателю совета министров. Каково же было мое удивление, когда 31 августа, после обеда во дворце, ко мне подошел Столыпин и спросил меня, как я думаю ехать в Чернигов. Я ответил, что предполагаю приказать прицепить свой вагон к ночному поезду,

с целью приехать утром в Чернигов, еще рез проверить все меры охраны перед приездом государя.

— Отлично,—сказал Столыпин,—так я поеду с вами.

На мой удивленный вопрос, почему он не едет на пароходе с государем, он заметил:

— Меня забыли пригласить.

Я тотчас же отправился к флаг-капитану, генерал-ад'ютанту Нилову и в возбужденном тоне передал ему мой разговор со Столыпиным.

— Число мест на пароходе очень ограничено,— сказал мне Нилов, и когда я заметил, что лучше было бы оставить половину свиты, чем председателя совета министров, он сказал:

— Хорошо, я доложу об этом.

Несколько минут спустя, генерал-ад'ютант Нилов опять подошел ко мое и сказал, что на его просьбу пригласить на пароход Столыпина последовал отказ. Я передал это Столыпину, который заметил:

— Напрасно трудились, хотя я очень обязан вам за ваши старания.

Я поспешил в гостиницу, чтобы поскорее узнать от Кулябки о свидании, которое должно было произойти около полудня. Оказалось, что женщина, долженствовавшая по словам Богрова, придти к нему на квартиру, не явилась, но Богров узнал, что явка боевой организации назначена на 7 часов вечера на Бибиковском бульваре.

Отдав приказание следить за этою явкой и не оставлять квартиру Богрова ни одной минуты без наблюдения, я решил обратиться к чрезвычайным полицейским мерам, о которых говорил со Столыпиным. Впоследствии, при ведении направленного против меня следствия, сенатор Трусевич поставил мне в вину, что я не велел произвести обыска у

Богрова с целью арестовать остановившееся у него лицо. Подобное обвинение звучит смешно в устах бывшего директора департамента полиции, который должен был бы помнить, что такой преждевременный арест члена боевой группы, силы которой еще не выяснены, не предотвратил все же убийства Александра II и министра внутренних дел В. К. Плеве.

Я сел с полковником Спиридовичем в автомобиль и поехал по тому пути, по которому должен был вернуться царь. Путь этот был тем более опасен, что другого пути для возвращения царя не было. Полиция находилась на указанных местах, но позади нее собралась огромная толпа. Я велел своему автомобилю остановиться около первого полицейского офицера и сказал ему так громко, чтобы всем было слышно: „Маневры затянулись, государь вернется только завтра утром, уберите полицию". Это приказание я повторил в той же форме всем офицерам, находившимся на постах. Полиция удалилась и толпа разошлась. Перед моим отъездом я приказал оставить на пути между дворцом и ипподромом полицейские посты для того, чтобы толпа подумала, что государь поедет по этой дороге. В то же время я приказал расставить патрули конных жандармов по другому пути, по которому имел в виду повезти царя.

Встретив царя около Святошина[1]), я сопровождал его до дворца и здесь ознакомил министра двора и генерал-адъютанта Дедюлина с положением дела и просил их уговорить государя поехать в ипподром по указанному мной пути не в коляске, а в автомобиле. Несколько минут спустя, дворцовый комендант сообщил мне, что его величество

[1]) Дачное место под Киевом.

категорически отклонил мою просьбу и назначил выезд в открытом экипаже.

Поездка на ипподром и возвращение назад совершились, к счастью, в полном порядке и на ипподроме я ознакомил подробно Столыпина с данными, сообщенными мне Кулябкой.

После обеда во дворце я поспешил в театр, чтобы проконтролировать охранную стражу, потом вернулся для сопровождения царя и вторично прибыл непосредственно после него.

Еще при первом моем появлении в театре, Кулябко, пришедший с Бибиковского бульвара, доложил мне, что все мои приказания относительно долженствовавшей произойти явки исполнены в точности. Когда я вошел в театр и направился к своему месту вблизи царской ложи, то был остановлен Столыпиным, сидевшим на первом месте от прохода. Он сообщил мне со слов Кулябки, что явка на Бибиковском бульваре не состоялась, и добавил:

— В первом антракте я должен с вами говорить.

Я с нетерпением ждал антракта и, как только государь вышел в аван-ложу, я поспешил к Столыпину.

— Что вы думаете теперь предпринять?—спросил он меня.

Я отвечал, что остается еще возвращение из театра, и тогда я могу надеяться, что все сойдет благополучно. Ночью я еще подумаю, какие меры принять.

— Поговорите еще раз с Кулябкой,—сказал министр, и этим закончился наш разговор.

Я пошел исполнить его приказание и по дороге увидел в проходе капитана Есаулова, на обязанности которого лежало ни на одну минуту не оставлять министра одного.

Кулябко сообщил мне, что Богров приехал в театр с известием, что явка революционеров отложена на завтра. Я выразил Кулябке большое неудовольствие по поводу Богрова, который, очевидно, всех морочит, и велел приказать ему не оставлять своей квартиры и находящегося в ней приезжего ни на одну минуту. Затем я просил Кулябку приехать ко мне после театра, чтобы поговорить о дальнейших мерах.

Я вообще не мог ни минуты предполагать, чтобы Богров находился в театре, так как не допускал, чтобы Кулябко не испросил раньше для этого моего разрешения. К началу второго акта я вернулся в партер и сообщил Столыпину о моем разговоре с Кулябкой, после чего уже не отходил от него ни на шаг, как делал это всегда, когда он находился в публичном месте. Столыпин, сильно обеспокоенный неопределенностью поступивших сведений, приказал мне еще раз разыскать Кулябко. Я вышел в корридор и стал говорить с Кулябкой, который сообщил мне, что приказал ехать Богрову немедленно домой и ни на одну минуту из дому не отлучаться. Но, как впоследствии оказалось, Кулябко, отдавая это приказание, не потрудился проверить, исполнил ли его действительно Богров.

Вдруг раздался характерный выстрел из браунинга. В зале моментально поднялось страшное смятение, послышались крики. Я бросился в зал. Мне навстречу бежал какой-то офицер с обнаженной шашкой в руке и кричал, что в Столыпина стреляли. Я не мог проникнуть в зал, так как в проходе публика набросилась на какого-то человека и начала избивать его. Попытки вырвать его из рук ее были тщетны. Я издали видел упавшего на свое кресло Столыпина и полковника Спиридовича, стоявшего у царской ложи с обнаженной шашкой в ру-

ках. Я бросился назад, чтобы другим ходом добраться до Столыпина и столкнулся с растерянным Кулябкой, который был очень бледен.

— Это Богров, ваше превосходительство,—пробормотал он, хватаясь за стену,—я виноват, мне остается только застрелиться.

Я крикнул ему, что застрелиться он успеет во всякое время, но не теперь, когда государь еще в театре. Так как я не мог проникнуть в театральный зал и другим ходом, то повернул к выходу по направлению к царской ложе. Встретившегося мне генерал-ад'ютанта Дедюлина я попросил задержать государя в театре, пока я не доложу, что путь свободен.

Ко мне подбежал командир жандармского эскадрона, и я приказал ему очистить от публики улицы, по которым поедет государь, а здесь оставить только несколько жандармов для сопровождения кареты скорой помощи со Столыпиным в больницу.

Чтобы добраться наконец до Столыпина, я направился к главному входу. Около него стояла уже карета, в которую при мне положили потерявшего сознание Столыпина. Я в последний раз видел его, так как потом, когда я по от'езде царя явился в больницу, врачи меня не допустили к нему.

Царь уехал из театра, не дождавшись моего сообщения об очистке пути. Арестованный Богров был передан в руки полиции.

В два часа ночи начальник края сообщил мне по телефону, что вновь назначенный председатель совета министров В. Н. Коковцов просит меня приехать к нему в генерал-губернаторский дом. Я поспешил на его зов и доложил ему о всех подробностях происшествия. Вместе с тем, я просил его доложить государю мою просьбу о разрешении мне подать прошение об отставке.

— Я считаю это в настоящее время невозможным,—ответил мне Коковцов, хотя я очень хорошо знал, что он не только будет приветствовать мой уход со службы, но не остановится ни перед чем и употребит всевозможные средства освободиться от меня навсегда. Я не ошибся, конечно, в этом предположении.

В 6 часов утра мне сообщили, что Столыпин просит меня приехать к нему в лечебницу, и, когда я прибыл туда, мне сказали, что Коковцов приказал не допускать к раненому решительно никого, кто бы он ни был, даже и меня. Поседевший в интригах Коковцов знал, что Столыпин мог призвать меня с целью передать через меня царю что-нибудь, чего он не сказал бы своему политическому противнику, а это обстоятельство могло бы нарушить его сон, который теперь осуществлялся на яву.

Не буду останавливаться на дальнейших событиях последующих дней: все затемнено в моей памяти смертью Столыпина. Я хочу хоть вкратце поговорить только об одном обстоятельстве, которое поразило всех, и остановиться на одном вопросе, который останется вероятно, навсегда без ответа, именно: какого рода человек был Богров и что побудило его убить Столыпина.

Богров был сын богатых родителей, но всегда нуждался в деньгах для своей широкой жизни. Вероятно, под влиянием модных течений он вступил в связь с революционными организациями и, нуждаясь в средствах, предал их охранному отделению. Богров стоил тех денег, которые оно тратило на него, ибо исполнял свое дело безукоризненно. Со временем его материальное положение улучшилось, и он прекратил связь с партиями и работу в охранном отделении. Я предполагаю, что в партии узнали об его отношениях к последнему и потребо-

вали от него оказать ей какую-нибудь услугу, чтобы загладить свою прошлую деятельность. Я не сомневаюсь в истине тех сообщений, какие он сделал Кулябке, и допускаю, что он еще за час до покушения на Столыпина мог не знать, что ему придется по приказу партии совершить этот террористический акт. Меня нисколько не удивило бы, если бы какая-нибудь партия приняла убийство Столыпина на свой счет, но дело в том, что все партии промолчали о нем, в то время, как в революционной печати всякое, даже самое ничтожное, политическое убийство вызывает обыкновенно хвалебные гимны.

Можно допустить, что сведения, сообщенные Богровым Кулябке, были выдуманы и что он заранее задумал сам совершить этот террористический акт, использовав для этого доверие к нему охранного отделения. Но и в этом случае нельзя было отказаться от принятых мер охраны, ибо в Киеве положение было настолько запутано, что недопустимо было бы не считаться с подобными сообщениями. Личных счетов у Богрова с Столыпиным, конечно, не было, и потому инициатива этого убийства, при исполнении которого он ставил на карту свою собственную жизнь, не могла исходить от него. Поэтому мы должны придти к заключению, что здесь действовала какая-то другая, нам неведомая сила... Выяснить ее не удалось—впрочем, этим не очень-то и интересовались. Я сделал представление, чтобы не очень спешили с передачей Богрова в руки правосудия и чтобы раньше предприняли тщательное расследование дела с целью выяснить мотивы преступления Богрова и, если возможно, его соучастников, но мне ответили, что нежелательно вмешивать полицию в судебное следствие. Богров был осужден и казнен. Правительство,

которое интересовалось так мало обстоятельствами, составляющими сущность данного дела, обрушилось со всей силой своего судебного аппарата на меня и на моих подчиненных.

Нужно сознаться, что аппарат этот действовал в данном случае довольно своеобразно, так как он в точности исполнил заданную ему Коковцовым задачу—во что бы то ни стало обвинить меня в преступлении, для признания которого не было ни юридических, ни фактических оснований. Смерть не закрыла еще очей Столыпина, как Коковцов, вопреки всякому закону, выхлопотал наряжение следствия по этому делу, не имея на это ни согласия еще не умершего Столыпина, ни согласия С. К. Крыжановского, временно управлявшего министерством внутренних дел. Расследование было поручено Трусевичу, отношения которого ко мне Коковцов знал очень хорошо, чем были нарушены элементарнейшие основы правосудия.

Коковцов очень спешил со следствием. Говоря это, я ссылаюсь на его собственные слова. Когда мы на другой день после смерти Столыпина ожидали на пароходной пристани возвращения царя из Чернигова, я обратился к Коковцову с просьбой нарядить, в виду смерти министра, расследование моей деятельности, на что он мне коротко ответил: „это уже сделано".

Когда Трусевич приступил к следствию, он поставил себе, как он сам рассказывал, задачу выяснить это дело, исходя из мысли о предумышленном убийстве и о моей небрежности по службе. Факт преступления был сам по себе так прост, что нужно было только выяснить, каким путем Богров попал в театр, и знали ли об этом я и Спиридович. Почему запутали в это дело Веригина, я совершенно не понимаю до сих пор.

Трусевич тянул следствие полгода, и оно заняло у него целые томы. Он занялся между прочим самым серьезным образом выяснением вопроса, ел ли я в Киеве икру и пил ли шампанское, причем оказалось, что я икры не ел и шампанского не пил. Хотя я представил точное исчисление своих личных средств, он все-таки справился во всех банках об имеющихся на мое имя вкладах и, так как таковых не оказалось, то о моих долгах. Он потратил много времени на исследование пустой газетной заметки о том, что Богров, за несколько дней до убийства, катался верхом по дороге, по которой должны были ехать высокие гости. Наконец, Трусевич поставил мне в вину, что я не знал такого важного обстоятельства, как интимная связь кухарки Богрова с одним из агентов киевской охранки.

Совокупность этих данных дала возможность Трусевичу обвинить меня одновременно в превышении и в бездействии власти, так как он хотел доказать, что трагическая смерть Столыпина явилась результатом моего неуместного вмешательства в его систему сыска. Бывший директор департамента полиции забыл, что в его время был произведен взрыв дачи Столыпина, причем была искалечена дочь министра, затем, что в его же время были убиты генерал Павлов, градоначальник фон-дер-Лауниц и начальник тюремного управления Максимовский, наконец, что в его время было произведено ограбление казны в Фонарном переулке, сопровождавшееся человеческими жертвами—и все это произошло несмотря на то, что тогда еще существовала центральная агентура.

Судебное расследование моего дела стало вполне корректным, когда перешло в руки сенатора Шульгина, человека честного, который отнесся к возложенной на него задаче вполне беспристрастно. В это время на помощь Коковцову явилась прокуратура

в лице генерал-прокурора Щегловитова, который служил новому премьеру так же ревностно, как раньше служил его убитому предшественнику. При предварительном следствии по моему делу нельзя было пренебречь юридической стороной его, и потому должны были в конце-концов быть выяснены границы моих полномочий, которые я нарушил с одной стороны превышением, а с другой—бездействием власти. Я принужден был обратиться с этим последним вопросом к сенатору Шульгину, но вместо него ответ дал мне присутствующий при моем допросе обер-прокурор уголовно-кассационного департамента правительствующего сената Кемпе, который авторитетно раз'яснил, что границы моих полномочий указаны в инструкции для товарища министра внутренних дел, как руководителя всей полиции в стране. Я должен был возразить, что, во-первых, означенная инструкция была изменена в конце ноября 1905 года по высочайшему повелению, когда генерал Д. Ф. Трепов, занимавший этот пост, был назначен дворцовым комендантом и что, во-вторых, я никогда не был руководителем полиции, так как во главе ее всегда стоял сам министр. Следствием подобного заявления моего было то, что обер-прокурор тотчас же ушел из комнаты и при дальнейших допросах больше не присутствовал.

На помощь Коковцову пришли и другие министры, в числе их новый министр внутренних дел А. А. Макаров, бывший во время перечисленных террористических актов товарищем министра. Когда он вернулся из Крыма, куда был призван царем до своего назначения, он передал мне следующие высочайшие слова:

— Я удивляюсь,—сказал ему государь,—что такой честный и преданный слуга, как Курлов, не подал до сих пор в отставку.

Я сказал Макарову, что мое прошение об отставке может быть подано сегодня же, на что Макаров осторожно заметил:

— Я передаю вам не приказ государя, а только слова его.

На это я, прощаясь с ним, сказал, что слова монарха для меня закон. Сдержанность Макарова, повидимому, была тонко рассчитана. Когда потом, после высочайшего приказа об оставлении моего дела без последствий, мои враги замыслили лишить меня, как находящегося под судом и следствием, причитающегося мне жалованья и задержать высочайший приказ о моем назначении в сенаторы, они указывали, что я не был устранен от службы, но по собственному желанию подал в отставку. И Макаров собственноручным письмом известил меня, что слова государя отнюдь не означали моего увольнения и что моя отставка явилась добровольной.

Впрочем, желание Макарова услужить Коковцову не ограничилось одним этим: в заседании 1-го департамента Государственного Совета, когда разрешался вопрос о предании меня суду, голоса разделились поровну только благодаря голосу Макарова. Поэтому восторжествовало неблагоприятное для меня решение, ибо перевес был дан голосом председателя Сабурова.

Ряд своих преследований Коковцов закончил тем, что назначил мне самую маленькую пенсию, несмотря на энергичный протест Н. А. Маклакова, бывшего тогда уже министром внутренних дел.

ГЛАВА XIII.

5 сентября 1911 года в Киеве закончилась, по моему, целая историческая эпоха, проникнутая духом Столыпина и выразившаяся в интенсивной за-

конодательной работе, направленной к удовлетворению назревших, существенных потребностей общества. Основной принцип столыпинского периода заключался в стремлении провести в жизнь основы манифеста 17-го октября при усилении власти правительства. Если какая-нибудь система управления зависит от качеств отдельных лиц и по перемене их изменяются до неузнаваемости отрасли, ими возглавляемые, то система эта должна совершенно погибнуть, когда умершего представителя высшей власти заменяет лицо, бывшее его политическим противником. Так именно случилось здесь, когда на посту председателя совета министров вместо П. А. Столыпина очутился В. Н. Коковцов.

Мне трудно будет привести фактические доказательства политического соперничества этих двух лиц, но оно с необходимостью явствует из сопоставления характеров нового и умершего премьер-министров, их взаимных отношений и того положения, какое занимал Коковцов в кабинете. Столыпин ставил на первое место интересы государства, Коковцов—свои личные. Самолюбие Столыпина было самолюбие государственного деятеля, самолюбие Коковцова—мелкий чиновничий эгоизм. Его одолевало желание играть выдающуюся роль, но это ему не удавалось при том исключительном влиянии, какое имел Столыпин на всех своих товарищей по кабинету министров. Если личное соперничество между обоими премьер-министрами есть моя догадка на основании ряда данных, то утверждение об их политическом соперничестве имеет под собой фактическую почву, и я могу для удостоверения его сослаться на собственные слова Коковцова.

Зимой 1910 года он был за границей. По его возвращении мы встретились в зале заседаний со-

вета министров, который помещался рядом со служебным кабинетом Столыпина в его квартире на Фонтанке. Поздоровавшись со мною, Коковцов, улыбаясь, спросил меня, как мы здесь поживали и, не ожидая моего ответа, сказал:—Впрочем, вы осчастливливаете мужиков, сажая их на отруба...

Из этих слов видно, как относился он к любимому детищу Столыпина—к аграрной реформе, и чего она могла ожидать от него после смерти Столыпина.

В тот же день в совете министров разыгрался один из тех эпизодов, которые характерны для поведения Коковцова в этих заседаниях. В высших учебных заведениях было сильное брожение, которое выражалось в забастовках и сходках и нередко сопровождалось насильственными действиями. Движение это охватило не только Петербург, но и провинциальные университеты. Утром я доложил Столыпину о поступивших на этот счет в департамент полиции сведениях, и он мне приказал составить проект циркуляра губернаторам о недопустимости подобных беспорядков, каковой циркуляр он имел в виду предложить на рассмотрение совету министров. Когда заседание началось, председатель изложил совету состояние вопроса и мнение министра народного просвещения, Л. А. Кассо, разделяемое им самим, что начавшееся движение нужно так или иначе ликвидировать.

Коковцов по своей привычке произнес очень длинную речь, которую, как и всегда, начал замечанием, что он хочет сказать всего несколько слов. Поговорив час или полтора, Коковцов закончил тем, что не сомневается в бесполезности своих слов для собрания, но все же просит „из исторических соображений“ занести высказанные им мысли в журнал заседаний. Изложить содержание этой длинной

речи Коковцова было бы более, чем трудно: она состояла из взглядов, „что, с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой—нельзя не признаться", никаких определенных выводов не содержала, а вместо них был набор общих фраз. Столыпин приказал мне внести на рассмотрение министров разработанный по его указанию проект, который и был принят без всяких возражений.

Такое поведение Коковцова было не случайно; оно повторялось почти в каждом заседании, особенно, если дело шло о таких мерах, которые требовали кредита. Приэтом страдающим лицом было обыкновенно военное министерство, и лейт-мотивом возражений Коковцова военному министру являлось соображение, что может наступить война, а денег не окажется. Подобные доводы Столыпин обыкновенно легко опровергал, и Коковцов не мог ему этого простить. Я привел, как пример, его взгляды при обсуждении сметы главного тюремного управления и думаю, что если бы подсчитать эти и подобные случаи, то их не уместить и в целой книге. Как вел себя Коковцов в дни болезни и смерти Столыпина?... В искренность его горя вряд ли верил кто-нибудь. Он достиг своей цели, и я думаю, в душе он был глубоко убежден, что теперь настало время заменить несовершенную столыпинскую систему совершенной... Конечно, бывают чудеса и—кто знает—быть может, система Коковцова неожиданно оказалась бы более полезной для России, чем система Столыпина.

По моему мнению, то именно и было ужасно, что Коковцов, как председатель совета министров и как руководитель общей политики, не имел никакой системы, так как нельзя же было назвать системой постоянную смену взглядов и убеждений, как это бывает только у капризных женщин.

Ибо можно ли назвать системой со стороны министра-председателя, когда в Государственной Думе он вдруг заявляет: „В России, слава Богу, нет парламента", а между тем сам, в бесконечных речах, всячески старается льстить народным представителям.

Ведь для системы нужны не слова, но действия, а их-то именно и недоставало во время управления Коковцова.

Поставив на карту престиж правительства, Коковцов не задумался принести в жертву и уважение к монарху. В следующей главе я буду говорить о роли и значении Распутина, здесь же не могу не заметить, что, как бы вредно его влияние ни было, все же нельзя его сравнить с вредом, который принес царской семье Коковцов, когда он предлагал 200.000 р. Распутину, чтобы тот оставил Петербург.

Осложнения в Думе, принявшие летом 1915 года угрожающий характер, повели к падению Коковцова и к замещению его И. Л. Горемыкиным. Я уже не раз останавливался на его характеристике. Я относился к нему с большим уважением, хотя считал, что его преклонный возраст является препятствием к занятию им поста премьер-министра, особенно в такое тревожное время. Продолжительная служба сделала Горемыкина олимпийски спокойным: его ничто не удивляло, ничто не волновало его, так как он придерживался принципа, что в мировой истории все повторяется, и что сила одного человека недостаточна, чтобы изменить или, тем более приостановить ее движение. Само собой разумеется, что при таковой точке зрения нельзя было ожидать от него тех энергичных мер, применения которых требовал данный момент.

Его преемником был Б. В. Штюрмер. Его я знал еще с молодых лет, когда он был назначен пра-

вительством председателем тверской губернской земской управы. Эту должность он потом занимал, как местный помещик, по выбору тверского земства. Прежний характер земства достаточно известен, поэтому, чтобы из обыкновенного правительственного чиновника мог выработаться председатель по свободному выбору населения, нужны были не средние, но выдающиеся способности. Эти же способности он проявил и в качестве ярославского губернатора, и управление его губернией можно назвать образцовым. Никто не сомневался, что в лице Штюрмера Ярославская губерния имела именно такого начальника, какого требует закон. Нельзя не упомянуть, что этот разоблаченный в качестве „немца" человек был глубоко верующим православным, который положил много труда и времени на восстановление древних ярославских церковных святынь.

Таким же образцовым работником был Штюрмер и в качестве директора департамента общих дел: он мог направлять, и действительно направлял деятельность губернаторов, ибо все указания его носили практический характер и производили невольное впечатление на его подчиненных. По смерти Плеве Штюрмер был назначен членом Государственного Совета,—единственный пример в истории русской бюрократии, когда лицо, занимавшее пост директора департамента, сразу попало в Государственный Совет.

Штюрмеру не удалось наладить мирных отношений с Думой, которая даже дошла до того, что потребовала его удаления, но я думаю, что задача ужиться с 4 Думой была бы не под силу любому премьеру. Можно с уверенностью сказать, что если бы достославный Родзянко был назначен премьером, то он и несколько дней не ужился бы с Думой.

Ведь не такая уж пропасть отделяла его от его коллеги А. Д. Протопопова, которого вся Дума и он сам возненавидели спустя уже полчаса после его назначения министром внутренних дел.

Положение Штюрмера стало трагичным с первого же дня, благодаря пущенной про него клевете. Его немецкое имя давало возможность сделать его во время войны с Германией мишенью самых яростных нападок, за которыми скрывались выпады против династии. В думских речах его называли ставленником царицы, видным членом немецкой партии и сторонником сепаратного мира с Германией. Нельзя упрекать Штюрмера за его взгляд, что война с Германией была величайшим несчастием для России и что война эта не имела решительно никаких серьезных политических оснований.

Подобный же взгляд выразил Дурново в гораздо более резкой форме в письме к царю, где он называл эту войну роковым безумием для России и предсказал, как последствие крушения вековой нашей дружбы с Германией, все позднейшие события, чуть ли не до большевизма включительно.

Штюрмер, как умный человек, не мог, конечно, думать о сепаратном мире, ибо хорошо знал рыцарские взгляды царя на подобные вопросы. Даже в самую трудную минуту своей жизни, когда ему угрожала потеря власти и неизвестность о судьбе семьи, царь с негодованием отверг совет отозвать для подавления народных беспорядков часть войска с фронта и открыть этим путь немцам.

Штюрмера обвиняли в измене, и Милюков утверждал в Думе, что у него имеются уничтожающие Штюрмера документы, которые он пред'явит судебным властям. Однако, он этих документов не пред'явил и солгал в этом, чтобы достигнуть своей цели. Когда после смерти Штюрмера, уско-

ренной дурным обращением с ним в крепости, его вдова, исполняя его последнюю волю, обратилась к председателю чрезвычайной следственной комиссии Временного Правительства с просьбой передать дело ее мужа в суд, на что по русским законам она имела полное право, несмотря на смерть мужа, упомянутый председатель ответил ей, что это невозможно, вследствие полного отсутствия каких бы то ни было обвинительных данных против него.

Глава последнего кабинета князь М. Д. Голицын, рыцарски честный человек, безгранично преданный царю, убежденный сторонник монархической идеи, не мог предотвратить надвигавшейся катастрофы в течение короткого времени пребывания своего на посту премьера. Это и должно было ожидать от него, ибо и он, подобно Штюрмеру, был на практике почти совершенно незнаком с новыми законодательными учреждениями.

Столыпин совмещал в своем лице председателя совета министров и министра внутренних дел, и после его смерти стало ясно, что можно найти и председателя, и министра, но нельзя найти Столыпина.

Его первым приемником был Макаров, который провел всю свою жизнь на службе в судебном ведомстве. Это сделало его страшным формалистом, глубоким поклонником канцелярии. „Бумага“ отнимала у него массу времени: он часто засиживался за работой до утра, и это, конечно, не могло не влиять на его творческую способность, которая так важна для человека, занимающего пост министра внутренних дел. Хотя он провел большую часть своей службы в провинции, но жизни все-таки он не знал и смотрел на нее с точки зрения прокурора. Лучшим примером этого могут служить выборы в Думу, при которых Макаров провел свою „линию“,

так как Коковцов определенного взгляда на это не имел. Я сохранил с Макаровым, несмотря на ту роль, которую он сыграл в моем процессе, хорошие отношения и после выхода моего в отставку.

Однажды, во время беседы, он высказал уверенность, что будущая Дума будет несомненно правой, благодаря значительному участию духовенства в качестве избирателей под руководством обер-прокурора св. синода Саблера. Такое мнение мог высказать только человек, совершенно незнакомый с положением и настроением нашего духовенства в провинции. И состав 4 Думы вполне подтвердил это. Провинциальное духовенство, материально необеспеченное, зависящее в этом отношении от прихожан, а в моральном отношении находящееся под гнетом епархиального начальства, не могло стоять на стороне правительства, даже в лице таких представителей своих, как принадлежавшие к крайним правым епископ Гермоген, протоиерей Восторгов и иеромонах Илиодор,—не говоря уже о низшем духовенстве, которое совершенно открыто примкнуло к левым партиям, как, например, священник Григорий Петров и Константин Колокольников, социалист-революционер, то есть член партии, проповедующей террор...

В Думе Макаров не играл никакой роли. Его речи, произносимые слабым голосом, не производили ни малейшего впечатления, но зато его приобревшая известность фраза: „Так было, так и будет" уничтожила навсегда всякую возможность его примирения с Думой. Полицейская служба также пала при Макарове, так как он устроил на место директора департамента полиции С. П. Белецкого, а начальником отдельного корпуса жандармов строевика генерала Толмачева, которым служба эта была совершенно незнакома. Таким образом, министерство

Макарова решительно ничем себя не заявило, и уход его в отставку прошел совершенно незамеченным.

Назначение министром внутренних дел черниговского губернатора Н. А. Маклакова явилось для всех большой неожиданностью, хотя я после смерти Столыпина, еще до назначения Макарова, случайно узнал от дворцового коменданта, что выбор царя пал на Маклакова и на члена Думы А. Н. Хвостова. Я был знаком с Маклаковым очень давно, еще с тех пор, как был товарищем прокурора владимирского окружного суда, а он—податным инспектором в гор. Юрьеве в той же губернии. Он был потом переведен податным инспектором в Москву, затем он служил в Тамбове в казенной палате и, наконец, был назначен председателем полтавской казенной палаты; это назначение совпало с празднествами двухсотлетнего юбилея Полтавской битвы, и Маклаков был избран председателем комиссии, заведывавшей украшением города по случаю царского приезда.

Столыпин, будучи в Полтаве, спросил моего мнения о Маклакове, так как он имел в виду назначить его куда-нибудь губернатором. В это время было вакантно место черниговского губернатора, и он хотел дать ему это место. Я ответил, что знаю Маклакова очень давно, люблю его, считаю умным и способным человеком, но, так как он не имеет еще никакого административного опыта, то бывает склонен к вспыльчивости и опрометчивости. Черниговская губерния, однако, не принадлежала, по моему мнению, к трудно управляемым губерниям, и я думал поэтому, что из Маклакова выработается современем хороший губернатор. По окончании празднеств Маклаков получил свое назначение.

За последнее время до меня не доходили никакие особенные слухи о деятельности его, хотя я

мельком слышал от начальника главного управления по делам местного хозяйства И. Н. Гербеля о столкновениях Маклакова с представителями земства. Об этом конфликте говорил мне Столыпин перед моим отъездом в Чернигов, где я должен был принять меры охраны царя, в виду ожидавшегося его приезда туда, и просил меня устранить как-нибудь трения, создавшиеся между губернатором и председателем земской управы Савицким. Необходимо заметить, что Маклаков считал Савицкого кадетом и этим об'яснял свои недоразумения с ним. Когда я приехал в Чернигов и остановился у губернатора, последний тотчас же посвятил меня во все детали своего столкновения с Савицким и при этом очень горячился, придавая инциденту почти личный характер.

Упомянутый конфликт произошел от того, что царь пожелал и в Чернигове видеться и говорить с крестьянскими депутатами. Земство приняло на себя устройство и содержание бараков для приезжих и хотело быть представленным царю вместе с крестьянами. Но так как царь выразил желание видеть только крестьян, то Маклаков воспротивился этому желанию земцев, повидимому, в довольно резкой форме. Я успокоил его и сказал, что в совещании, имеющем быть сегодня же вечером, где будут установлены отдельные частности пребывания царя в Чернигове, будет рассматриваться и этот вопрос, а пока просил его не обострять инцидента в моем присутствии. Однако, вечером, когда Маклаков заговорил о желании земцев, он принял страстный тон и этим повысил и без того возбужденное настроение председателя земской управы. Тогда я спокойно об'яснил Савицкому желание царя, чтобы ему никто, кроме крестьян, не был представлен, и указал, что в этом нет ничего обидного для зем-

цев, так как они могут представиться царю в дворянском собрании до его беседы с крестьянами. В конце концов, чтобы окончательно устранить всякие недоразумения, я об'явил, что правительство готово принять на свой счет все расходы по устройству бараков и содержанию крестьян. Все успокоились. Савицкий заявил, что земство и не думает отказываться от этих расходов. По от'езде царя он очень благодарил меня за внимание, оказанное земству, и за раз'яснение того, что в отказе губернатора представить земцев государю не должно усматривать и тени недружелюбного отношения к земству.

На второй день по вступлении в должность Маклаков просил меня вечером заехать к нему для переговоров. Он хотел ознакомиться при моей помощи с некоторыми подробностями, касающимися министерства и, особенно, полиции, и сообщил мне, что имеет в виду предоставить пост своего товарища и командира корпуса жандармов московскому губернатору генералу В. Ф. Джунковскому, своему личному другу. Я счел своею обязанностью предупредить Маклакова, что хотя я очень уважаю генерала Джунковского, но знаю, что он совершенно незнаком с обязанностями, связанными с этой должностью, и так как и сам он, министр, тоже плохо знает их, то я боюсь, что это может создать для него серьезные затруднения, тем более, что генерал Джунковский имеет наклонность искать популярности среди населения и потому относится видимо презрительно к полиции и к офицерам отдельного корпуса жандармов. Последние же всегда очень ценят дружественные отношения к ним своего командира.

Маклаков совсем не знал Петербурга и не имел никаких связей ни с двором, ни с бюрократическими кругами. Я поэтому заранее предупредил его об ин-

тригах, которые начнутся против него, вероятно, с момента его назначения и о том, что ему при его открытом, вспыльчивом характере не легко будет ладить с окружающими. Мои предположения очень скоро сбылись. Маклакова стали травить с первого же дня его службы, ложно толковали всякий шаг его—и что было особенно важно—выставляли его в смешном виде, хотя в его поступках ничего дурного собственно не было. Ведь не было же никакого преступления, например, в том, что он лично посетил некоторые полицейские участки. Конечно, это было очень естественно для какого-нибудь провинциального губернатора, но министр внутренних дел этого до сих пор не делал. В таком же смешном свете была выставлена его беседа с редакторами газет. Против насмешки всегда трудно бороться, и вот таким образом сразу было сорвано уважение к новому министру, тем более, что борьба с опытными в интригах бюрократами была далеко не под силу доверчивому провинциалу.

При таких условиях его управление министерством, совпавшее отчасти с началом войны, не могло, конечно, разрешить трудных государственных задач, созданных особым характером времени, хотя он по своим убеждениям был истинный монархист, искренне и страстно преданный царю и готовый отдать все свои силы на служение родине и монарху. Я убедился в этом впоследствии, обмениваясь с ним мыслями, когда он, в качестве члена Государственного Совета, принимал участие в обсуждении законопроектов. Мое близкое знакомство с Маклаковым оставило во мне впечатление, что он был чистый и порядочный человек.

После него министерство перешло в руки А. Н. Хвостова. Он начал свою службу прокурором в мое время, и был женат на дочери старшего пред-

седателя московской судебной палаты, А. Н. Попова, очень богатого, но гордого и бестактного человека, с громадным самомнением. Хвостов, будучи вологодским губернатором, обратил на себя внимание царя своими исследованиями природных богатств этого края, так что государь предоставил ему средства для опубликования результатов его изысканий. Хвостов был человек бестактный и, губернаторствуя в Нижнем Новгороде, не вылечился от этого недостатка: он демонстративно стал на сторону крайних правых партий, причем вел себя по отношению к ним не как губернатор, а как член партии, и окружил себя сомнительными личностями. Он вел открытую борьбу с местным земством, и Столыпин не раз просил меня указать ему на недопустимость его поведения. Но переделать его было невозможно, и потому министр настаивал, чтобы он покинул свой пост. Вскоре он был избран в Думу, где и примкнул к правым. В Думе он не выделился серьезной работой, но во время войны образовал в ней группу для борьбы с так называемым „немецким засилием"—термин, введенный в употребление значительным большинством печати, искусственно настроенной враждебно против немцев.

Будучи министром, Хвостов пригласил себе в товарищи Белецкого, ушедшего перед тем, по настоянию генерала Джунковского, с места директора департамента полиции. В это время здесь вновь практиковалась центральная агентура и прекратилось экономное расходование средств. Около министра и его товарища появились такие сомнительные личности, как Ржевский и др., и все закончилось чудовищным скандалом между Хвостовым и Белецким, повлекшим за собою увольнение их обоих.

Кратковременное управление министерством внутренних дел Штюрмером, А. А. Хвостовым (дядею

А. Н. Хвостова) и кн. Щербатовым, отличным знатоком лошадей и великолепным управляющим главного управления государственного конозаводства, решительно ничем не ознаменовалось. Что же касается личности и деятельности последнего министра А. Д. Протопопова, то о нем я поговорю при изложении событий, предшествовавших и сопутствовавших русской революции.

ГЛАВА XIV.

Происходящий из Тобольской губернии крестьянин Григорий Ефимович Распутин стал известен в последние годы царствования Николая Александровича не только в России, но и во всем свете. Распространявшиеся о нем слухи, преувеличенные до крайних пределов, служили всем противоправительственным русским партиям средством для дискредитирования в глазах народа монархического принципа и личностей царя и царицы. Средство это оказалось действительным, так как не подлежит никакому сомнению, что имя Распутина, ставшее благодаря лжи и клевете, весьма известным, оказало революционерам большую услугу и создало благоприятную почву для низвержения трона Николая II. Метод этот не нов: он известен в истории знаменитыми скандалами, направленными при начале великой французской революции против династии Бурбонов и выразившимися в легенде об ожерелье королевы. Довольно странно видеть кардинала принца Рогана в одном ряду с русским простецом, но оба они оказались в равной мере роковыми для своих покровителей.

Я не могу с точностью указать время появления Распутина на петербургском или, вернее сказать, на

дворцовом горизонте. Когда я вступил в должность товарища министра внутренних дел, имя Распутина было для меня пустым звуком. Я слышал, правда, что при дворе имеется какой-то „монах", не то пророк, не то обыкновенный шарлатан, по имени Гришка, но подобными суб'ектами Петербург тогда прямо кишел. Большинство аристократических домов имели в то время своих Распутиных, Митей и т. п. Высшее русское общество очень увлекалось тогда мистицизмом. Рассказывали, что Распутина ввел ко двору ректор петербургской духовной академии, архимандрит Феофан, находившийся под влиянием епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора. Но не было также недостатка и в таких слухах, будто эту злополучную услугу царской семье оказала одна из высокопоставленных дам. Наконец, говорили будто бы Распутина лично разыскали некоторые члены царской фамилии.

Хотя Распутин не занимался никакой политической деятельностью, относящейся к сфере департамента полиции, тем не менее петербургское охранное отделение поставило его под надзор, так как он бывал при дворе и в то же время вел знакомство с политически неблагонадежными элементами, и, кроме того, жил в квартире редактора „Русского Богатства", который привлекал к себе внимание полиции. Об этой мере охранного отделения, как о совершенно ничтожном обстоятельстве, я даже не был поставлен в известность.

Однажды вечером, зимою 1909 года, Столыпин сообщил мне по телефону, что ему приказано снять с Распутина наблюдение, и велел мне распорядиться на этот счет. Я отдал охранному отделению соответствующее распоряжение и совершенно забыл об этом случае, так как был в то время поглощен другими важными делами. Спустя несколько дней

Столыпин сказал мне после моего обычного доклада, что сегодня в три часа дня он должен принять Распутина. Поэтому он просил меня быть в это время в его кабинете, сидеть где-нибудь в стороне за столом, якобы занимаясь просматриванием бумаг, наблюдать, но в разговор не вмешиваться. По уходе Распутина я должен был высказать о нем свое мнение.

В назначенный час я находился в рабочем кабинете Столыпина, и туда в скором времени дежурный курьер Оноприенко ввел Распутина. В комнату вошел худощавый простолюдин с клинообразной темнорусой бородой и проницательными, умными глазами. Он сел со Столыпиным у большого стола и сейчас же повел речь о том, что его неосновательно подозревают в различных вещах, между тем как он самый мирный и беспартийный человек. Столыпин молчал и заметил только, что если его поведение не подаст повода к иному отношению к нему, то он может быть уверен, что полиция его не тронет. Когда Распутин ушел, я высказал Столыпину свое мнение о нем: по моему, он был олицетворение хитрого мужичка, такого, как говорят, „себе на уме", но не шарлатан.

— Однако, нам придется с ним изрядно повозиться,—сказал Столыпин.

Две недели спустя, Столыпин приказал мне подать ему письменную докладную записку о Распутине на основании данных, имевшихся о нем в департаменте полиции. Эти данные относились преимущественно к его частной жизни, к его кутежам, которые иногда оканчивались скандалами, к его любовным похождениям и к разного рода авантюристам, которые пользовались им для своих целей. Я спросил Столыпина относительно цели этого доклада. Оказалось, он думал представить его царю.

Я посоветовал ему не делать этого, так как такой доклад, содержащий только данные о частной жизни Распутина, произвел бы на царя впечатление, будто хотят очернить в его глазах человека, к которому он благоволит. Столыпин меня не послушал, но когда вечером вернулся из Царского Села, то призвал меня к себе и сказал, что я был совершенно прав: выслушав доклад о Распутине, царь не сказал ни одного слова, а велел перейти к докладу о текущих делах.

Каково, собственно, было и в чем именно заключалось влияние Распутина при дворе, я по своей службе не мог заметить и натолкнулся на него вновь в связи с делом саратовского епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора.

Саратовский губернатор граф Татищев должен был оставить службу вследствие невозможных отношений, установившихся между ним и Гермогеном, который позволял себе против него грубые и бестактные выходки. Преемник Татищева, П. П. Стремоухов, точно также жаловался на поведение высокопреосвященного Гермогена, прикрывавшего свое непослушание монархическими и набожными фразами. Как умный человек, епископ в своих выступлениях не доходил до крайних пределов, а пользовался для этого иеромонахом Илиодором, на которого имел влияние.

Илиодор произносил в Царицыне прямо революционные проповеди, в которых побуждал народ не подчиняться властям, так как все они еретики и изменники. Содержание его проповедей было сообщено мне начальником саратовского губернского жандармского управления, полковником Семигоновским, и мы со Столыпиным не раз совещались о том, как обуздать Илиодора.

Однажды вечером графиня С. С. Игнатьева спросила меня по телефону, не могу ли я, несмотря

на поздний час, принять ее немедленно. Я выразил согласие, и через некоторое время она явилась ко мне. Я был немало удивлен, когда вместе с нею появился и какой-то монах.

— Позвольте мне,—сказала графиня,—представить вам страшного человека, иеромонаха Илиодора, который только что прибыл. Я хотела, чтобы вы лично составили правильное мнение о нем.

Передо мной стоял высокий, худой монах с горящими, блуждающими глазами. С первых же слов он начал в экзальтированном тоне жаловаться мне на саратовскую администрацию, особенно же на полковника Семигоновского, который постоянно клевещет на него. На моем столе лежала только что полученная проповедь Илиодора, в которой он призывал народ к открытому восстанию и к насильственным действиям. Я показал ее Илиодору и спросил его, не извращен ли этот текст его проповеди, и он, прочитав его, сказал, что это его собственные слова. Я заметил Илиодору, что мы не можем терпеть открытых призывов к восстанию, и что я вообще не понимаю, как таковая проповедь уживается в нем с его монархизмом и принадлежностью к крайним правым. Илиодор стал об'яснять мне в повышенном тоне, что он народа к восстанию не призывает, но имеет право так вести себя по отношению к властям, так как все они изменники царю.

Дальнейшую беседу с этим явно ненормальным человеком я считал излишней. Я составил себе мнение о нем, но оно было, очевидно, несогласно с мнением графини Игнатьевой. Для меня было ясно, что Илиодор—тип распространившихся в последнее время карьеристов из духовного звания, который, с целью добиться популярности у народа, не остановится ни перед какими средствами, и что

всякая попытка повлиять на него разумным словом будет бесполезна. На следующий день Илиодор уехал в Царицын, заперся там с народом в церкви и день и ночь проповедывал ему в вышесказанном духе. Губернатору было приказано окружить церковь полицией, не допускать в нее больше народа, а Илиодора не трогать и в церковь не входить. Одновременно Столыпин обратился к обер-прокурору св. синода с просьбой предложить высшему духовному учреждению приказать епископу Гермогену повлиять на Илиодора и образумить его.

Но и духовные меры не повели ни к какому результату.

Не оставалось ничего другого, как обратиться к крайним средствам и применить даже силу. В течение последних дней, еще до того, как мы прибегли к ним, ко мне начали поступать копии телеграмм Гермогена и Илиодора к Распутину, причем телеграммы Илиодора были подписаны его братом, студентом Труфановым. В этих телеграммах оба они просили заступиться за них; Распутин успокаивал их, обещая, что дело окончится благополучно. И, действительно, в скором времени Столыпин получил собственноручное письмо от царя, в котором его величество, снисходя к просьбам духовных чад Илиодора, приказал опять, в последний раз, не давать этому делу дальнейшего хода.

Милость монарха не оказала, однако, на Илиодора должного влияния; точно так же ничего не добился от него нарочно посланный к нему царем флигель-ад'ютант, так что в конце концов все-таки пришлось обратиться к крайним мерам и заключить Илиодора в один из тульских, а Гермогена в один из гродненских монастырей. Оба они несомненно усмотрели в этой мере нежелание Распу-

тина оказывать им дальнейшую помощь и вот причина, почему недавние друзья стали вдруг злейшими врагами.

Я описал всю эту историю так подробно потому, что она является первоисточником тех легенд о значении Распутина и его близких отношений к царской фамилии, которые потом распространились по всей России. Когда отношения Илиодора к Распутину переменились, инспирированный Гермогеном инок выявил на деле те качества своего характера, которые рельефно выступали в его проповедях. Полагая, что он может все себе позволить и что в борьбе дозволены все даже самые недостойные средства, Илиодор не остановился перед распространением в публике поддельных писем царицы и ее дочерей к Распутину.

И таким махинациям верили.

Председатель совета министров Коковцов не придумал ничего лучшего, как сделать Распутину вышеупомянутое предложение, исходя, повидимому, из того соображения, что от'езд Распутина из столицы ослабит или даже вовсе уничтожит то впечатление, какое произвели на всех вышеупомянутые письма. Он не понимал, что такая мера придаст фальшивым письмам в глазах большинства вид подлинных. М. В. Родзянко взял на себя смелость показать монарху эти письма и посоветовать ему выслать Распутина из Петербурга. Нужно быть таким самоуверенным и таким ограниченным человеком, как Родзянко, чтобы удивляться и быть недовольным, когда его совет не имел никакого успеха у царя.

Какое бы положение ни занимал Распутин, можно ли приведенные здесь факты считать вообще доказательством его большого влияния на царя и царицу? Я уже не говорю о содержании этих пи-

сем. Признать их хотя на одно мгновение и придать им какое-нибудь значение было бы верхом не только неприличия, но и безграничной глупости. У всякого более или менее порядочного человека письма эти должны были вызвать только чувство отвращения. Даже те, кто пользовался ими для достижения своих целей, относились к ним с полным недоверием. Я, хорошо знакомый с этикой революционных партий, убежден, что и они отнеслись к этим письмам вполне отрицательно, на что указывают мнения членов чрезвычайной комиссии, которые с отвращением отбросили эту грязь.

С чем, спрашиваю я, имели мы здесь дело?

Была ли роль Распутина совершенно непонятна и необ'яснима и можно ли вообще то обстоятельство, что он бывал при дворе, считать серьезным нравственным преступлением членов царской семьи?

Конец 19-го и начало 20-го столетия характеризуются падением религии не только в высших классах общества, но и среди простого народа. Неизбежным спутником такого падения является мистицизм, который даже у искренно верующих людей вытесняет чистую религию. Царь был несомненно глубоко религиозным человеком. Тяжелые события его царствования не могли пройти для него бесследно и должны были, по моему мнению, невольно бросить его в об'ятия мистицизма. Вместе с тем события, но главным образом окружавшие его люди, сообщили его душе чувства сильного недоверия и презрения к представителям бюрократии и высшего общества, которые, с одной стороны, рабски преклонялись перед ним, стремясь к достижению своих эгоистических целей, а с другой—были готовы на каждом шагу изменить и предать его.

Живо встают в моей памяти фигуры некоторых придворных, которые по своей должности, к заня-

тию которой они очень стремились, стояли во время торжественного обеда по случаю бракосочетания великой княжны Марии Павловны, за стульями и креслами членов царской фамилии, а потом непосредственно после этого произносили в Думе противоправительственные речи. Монарх желал слышать правдивое открытое слово и думал, что такое слово может исходить только от простого человека.

Именно, в этом и нужно искать причину доверия к Распутину. Если сюда присоединить еще, что последний несомненно обладал способностью действовать успокоительным образом на нервы и что он проявлял эту способность в отношении малолетнего престолонаследника во время его частых болезней, то станет понятно, что, при безграничной любви к этому наследнику царской четы, Распутин должен был сделаться для нее незаменимым человеком.

При изложении предыдущих событий, я уже указал на то, как неосновательно было распространенное в то время мнение о безграничном влиянии Распутина на государственные дела.

В назначения высших сановников он совершенно не вмешивался, хотя не без того, конечно, что мнение его о том или другом человеке не оставалось без влияния, при громадном доверии к нему царя и наклонности последнего к мистицизму, особенно, когда государь по своему убеждению или по каким-нибудь другим причинам колебался при выборе или назначении какого-нибудь лица.

Я должен дополнить свое мнение о Распутине еще теми впечатлениями, какие я сам вынес из личного знакомства с ним, а также неблагоприятными отзывами о нем фигляра Пуришкевича.

Я никогда не получал никаких назначений, наград или вообще милостей через Распутина, не-

смотря на циркулировавшие обо мне на этот счет слухи, которые оказались, однако, настолько вздорными, что чрезвычайная следственная комиссия меня в первые же дни своей деятельности исключила из числа так называемых „распутинцев".

Моя первая встреча с Распутиным произошла зимой 1912 года у одной моей знакомой, которая дружественно отнеслась ко мне и стремилась мне помочь в тяжелые дни, когда меня преследовали после смерти Столыпина. Мое внешнее впечатление о нем было такое же, какое я получил, когда, еще незнакомый с ним, наблюдал его в кабинете Столыпина. Хозяйка дома, повидимому, рассказала ему о всех превратностях и злоключениях моих, хотя он знал о смерти Столыпина, повидимому, и из других источников. Но я лично по поводу этого с ним в разговор не вступал. Распутин отнесся ко мне с явным недоверием, потому что он знал, что я был товарищем министра при покойном Столыпине, которого он не без основания должен был считать своим врагом. Я и не думал обращаться к нему с какой бы то ни было просьбой, и наша беседа имела общий характер. Я, между прочим, был поражен знакомством Распутина со священным писанием и богословскими вопросами. Он вел себя очень сдержанно и не только не выказывал никакого хвастовства, но даже ни единым словом не касался своих отношений к Царскому Селу. Точно также я не заметил в нем никаких признаков гипнотической силы, так что, расставшись с ним, я должен был сказать себе, что все рассказы о его будто неотразимом влиянии на окружающих—пустая болтовня, на которую Петербург был всегда так горазд.

Вторая встреча моя с Распутиным имела место летом 1915 года. Я приезжал на несколько дней

из Риги в Петербург и поспешил навестить, по своему обыкновению, моего постоянного врача, лечившего меня много лет, и старого друга П. А. Бадмаева, у которого я и встретился с Распутиным. Знакомство их меня нисколько не удивило, так как Бадмаев, верующий христианин, относился глубоко отрицательно ко всякому проявлению мистицизма, но старательно изучал его путем личного знакомства с различными выдающимися на этом поприще людьми. Я уже и раньше встречал у Бадмаева странника Митю и других монахов и „старцев". К Распутину он относился с большим вниманием, видимо, желая разгадать его личность, так как Бадмаев искренно и высоко чтил царя и всю его семью.

В своих заметках о Распутине, полных клеветы, убийца его Пуришкевич не пощадил и Бадмаева и рассказывает, будто он, Бадмаев, снабдил Распутина какими-то особыми порошками, при помощи которых последний приворожил к себе царскую семью. Для Пуришкевича, постоянно заботившегося о своей популярности, эта ложь была безусловно необходима, чтобы расположить в свою пользу и настроить читателя на свой лад, заставив его поверить в безграничную и рабскую подчиненность царя и царицы воле Распутина. Глупость и лживость этой выдумки были несомненны для него. Но, может быть, Пуришкевич в момент изменнического убийства Распутина руководился и другими соображениями, помимо страха ответственности.

Никто из царской фамилии никогда не лечился у Бадмаева. Распутин тоже никогда не был его пациентом, но многочисленные пациенты, к числу которых и я принадлежал 18 лет, знают, что Бадмаев не располагал никакими особыми лекарствами.

Питая безграничное доверие к медицинским познаниям Бадмаева и беспокоясь, подобно всем рус-

ским, о болезни наследника, я предложил по телеграфу генералу Дедюлину испытать испробованные мною средства Бадмаева против кровоточивости, но предложение это было решительно отвергнуто придворными врачами.

При этой встрече Распутин выказал огромный интерес к войне, и так как я только что вернулся с фронта, он спросил меня, какого я мнения об исходе войны, причем сказал, что он считает эту войну огромным несчастием для России. Во время дальнейшей беседы он в первый раз коснулся своих отношений к Царскому Селу. Говорят, что он пытался тщетно убедить царя не начинать этой войны с Германией. Это еще раз подтверждает отсутствие влияния Распутина на государственные дела. Хотя он был противник этой войны, но с большим патриотическим одушевлением говорил о необходимости довести ее до конца, высказывая надежду, что Бог поможет в этом царю и России.

Уже одно это свидетельствует, что национальное чувство было в Распутине гораздо сильнее развито, чем у многих его обвинителей, которые стремились к сепаратному миру и пытались вместе с „немцем“ Штюрмером повлиять в этом смысле на царицу. Таким образом, обвинение Распутина в измене было также неосновательно, как и царицы. Я никогда не забуду характерного выражения, которое приэтом сорвалось с уст Распутина. — „Иногда,—сказал он,—приходится царя и царицу упрашивать целый год, пока допросишься у них чего-нибудь“.

Как неизмеримо далеко это от „исключительного и безграничного влияния“!

Я имел случаи еще несколько раз видеться и говорить с Распутиным. Я еще раз встретился с ним, между прочим, у того же Бадмаева и был поражен

его природным умом и практическим умением разбираться в текущих вопросах, даже государственного характера. Он был ревностным поклонником дальнейшего существования Думы, несмотря даже на ее противоправительственное настроение, и всегда говорил о необходимости упорядочить вопрос народного продовольствия, правильное разрешение которого, по его мнению, было единственным средством успокоить страну.

В бытность мою товарищем министра внутренних дел мне часто докладывали об его кутежах в ресторанах, но никогда не сообщали об его будто бы неприличных выражениях о царской фамилии, как об этом рассказывали знатные петербургские клеветники, или о каком-то гадком отзыве о великой княжне Ольге Николаевне, за что будто бы его до полусмерти избил какой-то офицер, и т. д.

Упомянутое мнение о Распутине приводит, как это ни странно, Пуришкевич в своем рассказе о „высокополитическом подвиге", т. е. убийстве Распутина. Даже Пуришкевич не осмеливается повторять эти россказни и грязные сплетни про царицу и ее дочерей. Чтобы оправдать свой гнусный поступок, совершенный будто бы для спасения царя и России от чрезмерного влия л Распутина, он ни пред чем не останавливается. Между прочим, он указывает на целый ряд лиц, якобы пострадавших благодаря Распутину.—„Где,—восклицает он,—уважаемый, благородный Самарин? Где начальник придворной канцелярии князь Орлов? Где генерал Джунковский? Где, наконец, княгиня Орбелиани и Тютчева? Все они были удалены от двора, потому что осмелились возвысить свой голос против Распутина".

Не говоря уже о том, что все эти слухи фактически не верны—княгиня Орбелиани, например, до

конца своей жизни оставалась при дворе и даже умерла на руках царицы,—позволю себе привести здесь следующие два примера: князь Орлов получил более высокий пост на Кавказе, в качестве представителя его величества, генерал Джунковский был назначен в свиту его величества и т. д. Распутин был человек, несомненно, очень добрый и часто проявлял к своим врагам истинно-христианское всепрощение.

При неоспоримости приведенных здесь фактов, вся грязь, так называемой, „распутинской истории" с царской фамилией отпадает. Равным образом, отпадает и обвинение—я не могу решиться здесь повторить другие обвинения, которые возводили на царя и царицу—будто Распутин побуждал их изменить России. Это обвинение не оправдалось при разборе бумаг покойного царя одним из членов чрезвычайной следственной комиссии, которому Керенский поручил разобрать архив Николая II. Этот член, почтенный Ф. Д. Руднев, бывший раньше следователем по особо важным делам в Москве, а в момент революции—председателем полтавского окружного суда, заявил, что порученный его разбору личный архив государя он нашел в образцовом порядке: в нем были не только все тайные письма, но и черновики ответов на них. По этим документам,—говорит Руднев,—личность царя Николая Александровича выступает в кристально-чистом свете.

Мне остается коснуться слухов о влиянии Распутина на назначения должностных лиц и разрешение различных дел, приносивших ему будто бы материальные выгоды. Я допускаю, что он в некоторых случаях обращался с деловыми просьбами к царице или даже к самому царю—и думаю, что многие из его просьб, действительно, удовлетворя-

лись, но выгоды от этого получал не он, а окружавшая его банда аферистов. Им доставалась львиная доля всех благ, добываемых Распутиным, сам же он получал ничтожные суммы, и даже эти суммы попадали в руки нуждавшихся просителей, из которых ни один никогда не уходил, не получив от него вспомоществования. Но как велико было число случаев, в которых Распутин просил о милости и защите для бедных людей!

Официально доказано, что после смерти Распутина в его доме не было найдено ни копейки денег, не было обнаружено и в банках вкладов на его имя, между тем как они не могли бы, конечно, остаться тайной. Мельчайшие подробности его жизни, не только действительные, но и вымышленные, повторялись зато печатью всего света с единственной, кажется, целью выставить его личность в еще более отвратительном свете.

Излагая все эти факты, я должен бояться, что меня можно будет упрекнуть в том, что я из любви и безграничной преданности к царю и его семье стараюсь скрыть истину о Распутине, так как все, рассказанное мною, противоречит создавшейся вокруг него легенде. Мое изложение этой истории, в которую все верили и которая привела к убийству Распутина членом царской фамилии, великим князем Дмитрием Павловичем, можно было бы приписать моему самомнению. Я говорю „убийство", так как не могу стать на своеобразную юридическую точку зрения какого-нибудь Пуришкевича.

„Слава Богу,—пишет он об убийстве Распутина,—что руки великого князя Дмитрия Павловича не замараны этой грязной кровью. Он был только зрителем—не больше. Чистый, молодой, благородный отпрыск царской семьи, так близко стоящий к трону, не может и не должен быть обвинен в этом тяже-

лом, но зато высокопатриотическом деле, где пролита кровь хотя и Распутина".

Что сказать на это? Глупость ли это или цинизм? Можно ли допустить, что Пуришкевич не знает, что присутствие при убийстве по уголовным законам всех стран равносильно участию в нем, и что он покрыл себя несмываемым позором, когда допускает хотя бы малейшее участие столь любимого государем великого князя в деле, являющемся в его глазах высокопатриотическим, а в глазах всего света гнусным. Можно представить убийство, совершенное под влиянием чистых побуждений, и оно не позорит виновного, но к убийству человека, приглашенного в дом в качестве гостя, можно отнестись, не иначе, как с омерзением. Монархист Пуришкевич должен был скорее умереть, чем допустить участие великого князя, если не в преступлении, то, во всяком случае, в низком деле. Но он еще дерзко хвастает тем, что вместе с великим князем сочинил письмо к царице Александре Федоровне, в котором „все написанное нами было преднамеренной ложью и выставило нас в свете незаслуженно оскорбленной добродетели".

Для такого поступка нет названия, особенно, если вспомнить, что привлечение великого князя к столь позорному делу имело целью избежать ответственности. Пуришкевич знал, что по русским законам все соучастники преступления подлежат тому наивысшему суду, которому подлежит хотя бы один из них. А так как судьею великого князя должен был явиться сам царь, то для Пуришкевича это было равносильно полной безнаказанности.

Опасение возможных упреков заставляет меня попытаться выяснить, чем именно вызвана легенда о Распутине, которая впоследствии послужила для оправдания февральских дней 1917 года.

Авторами ее являются прежде всего все кандидаты на роль и место Распутина, начиная с князя М. М. Андроникова, дерзавшего называть себя „ад'ютантом Господа Бога", монахиней Мардарией и кончая юродивым Митей и т. п., имя которым был легион и которые приходили в гнев и ярость оттого, что не могли устранить Распутина и занять его место. Затем сочинителями этой легенды являются все те, кто не получил никаких назначений, несмотря на то, что они очень аккуратно навещали квартиру Распутина. Для них всякое назначение, обманывавшее их надежды, было делом рук Распутина, о чем они громко возвещали.

Наконец, легенду эту создавали те, которым Распутин действительно помог и которые из благодарности кутили с ним в ресторанах. Приэтом Распутин не очень стеснялся в выражениях с ними, несмотря на то положение, которое они занимали. Так, например, секретарь министра Хвостова однажды подошел к телефону и узнал голос Распутина, который, думая, что у телефона Хвостов, сказал: „Ну, что Алешка, едем к цыганам?". После этого министр сейчас же велел подать автомобиль. И все эти люди потом цинично рассказывали подробности умышленного убийства Распутина, как нечто самое обыкновенное.

Как было не верить широкой, непосвященной публике циркулировавшим о Распутине слухам, если разыгрывались всякие скандальные истории, в которые впутывали его имя. Например, история между Хвостовым и его товарищем Белецким. Хвостов посылает в Швецию своего близкого человека по Нижнему-Новгороду, Ржевского, про которого определенно говорили, что он способен на всякое преступление, купить у скрывавшегося там, лишенного духовного звания Илиодора его книгу о Рас-

путине. Илиодор все время угрожал напечатать ее. Белецкий, узнав о поездке Ржевского, приказывает арестовать его и представляет отнятые у него письма прямо царю. Министр и его товарищ были вынуждены подать в отставку. Этот скандал наделал немало шуму и усилил толки о Распутине, хотя Распутин был здесь ни при чем, и отставка обоих министров была лишь обычным, неизбежным наказанием за нарушение элементарных служебных обычаев.

Некто Манасевич-Мануйлов, служивший прежде в департаменте полиции, и сотрудник нескольких газет, был назначен чиновником особых поручений при председателе совета министров Штюрмере с специальным поручением держать его в курсе газетных писаний о нем. Он знал Распутина, и это послужило поводом к слуху, будто он хочет чрез Распутина устроить министром финансов директора одного из московских банков и близкого родственника А. Н. Хвостова. Министр внутренних дел, дядя А. Н. Хвостова, приказывает арестовать Манасевича-Мануйлова, не предупредив и не поставив в известность даже председателя совета министров об аресте его чиновника. Следствием этого был новый скандал в обществе и новые толки про Распутина, которому молва опять приписала главную роль в этом деле.

Наконец, наиболее действительными распространителями, как они думали, славы Распутина, а в сущности его позорной известности являлись всевозможные психопаты, ютившиеся около него, которые, желая ему добра, приносили ему и царской фамилии только огромный вред. Лица эти принадлежали одинаково к средним и высшим классам общества. Многие из них искренно верили в „святость“ Распутина и, распространяя повсюду

молву об этой святости, готовили ему этим только могилу.

Все это, раздувая до невероятных размеров значение Распутина, давало думской оппозиции и революционным партиям в последние месяцы перед революцией возможность пользоваться его именем, как прямым оружием против династии.

Со смерти Распутина прошло три года, кровавый пожар, охвативший Россию, не мог ни уничтожить, ни рассеять легенду о Распутине, и пройдут еще многие годы, пока правда о нем займет свое место и поставит его в ряду многих других заурядных фигур этого тяжелого и несчастного для России времени.

ГЛАВА XV.

Началась война с Австрией и Германией, бывшая в самом начале весьма популярной в народе. Это резко бросалось в глаза в заседании Думы, которая в этот раз представляла собой картину полного единения. Были забыты обычные партийные раздоры и борьба против правительства. Народ был патриотически настроен и с воодушевлением приветствовал царя, когда он появился на балконе Зимнего Дворца в день об'явления манифеста о войне.

С первого же дня и в России, и в Германии народные массы вышли из всяких границ дисциплины, так как власти почти не останавливали таких беспорядков, как разрушение здания германского посольства в Петербурге и оскорбление русского посланника в Берлине.

Во главе русской армии стоял верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич.

Военный министр, генерал-ад'ютант Сухомлинов, рассказывал мне, что царь думал сам занять этот пост, но он ему отсоветовал это. Сухомлинов считал более справедливым и целесообразным передать столь важную задачу великому князю, так как ему самому, как военному министру, предстояла и без того колоссальная работа по снабжению армии. Командование действующей армией создало бы неизбежные и опасные трения с великим князем; кроме того, великий князь был знатоком военного дела и можно было ожидать, что он приложит все старания для того, чтобы довести войну до победного конца.

Великого князя я знал со времени моего производства в офицеры, когда он командовал эскадроном лейб-гвардии его величества гусарского полка, принадлежавшего к той самой дивизии, где я начал свою службу. Таким образом, мне были хорошо знакомы личность и деятельность великого князя не только с оффициальной стороны. Он был образцовым эскадронным командиром, отдавался с большой любовью службе, и хотя был строг и требователен, но его любили в полку, которым он потом командовал. Как товарищ министра, я имел случай ближе познакомиться с ним, ибо он командовал тогда гвардией и петербургским военным округом; я бывал часто у него с докладом, приобрел его симпатию и не раз беседовал с ним по разным государственным вопросам.

Великий князь высказывал всегда свои мысли с военной прямотой и смотрел на все именно с этой специальной точки зрения. Он безгранично любил царя, который в бытность наследником престола был ему подчинен по службе в лейб-гвардии гусарском полку, подчеркивая всегда свою преданность монарху, и был ярым сторонником идеи само-

державия. Он редко вмешивался в дела, не касавшиеся непосредственно его деятельности, и делал это только в тех случаях, когда вмешательство его было, по его мнению, полезно царю. Я живо припоминаю свою беседу с великим князем во время короткого перерыва деятельности законодательных учреждений для проведения закона о введении земства в Северо-Западном крае. В столице циркулировали упорные слухи о том, что упорство Столыпина в этом вопросе поколебало его служебное положение, так что в магазинах художественных произведений появились даже на окнах портреты Коковцова, как вероятного заместителя его на посту премьер-министра. Я позволил себе высказать великому князю, что отставка Столыпина будет невозвратимой потерей для царя и всего государства. Великий князь выслушал меня спокойно, затем тут же позвонил по телефону в Царское Село и попросил царя немедленно принять его. Вечером он сообщил мне, что говорил с царем о Столыпине, и что положение последнего вполне прочно.

Будучи назначен главнокомандующим всеми вооруженными силами, великий князь весь ушел в войну, все время посвящал напряженной работе, живо интересовался всем и сам непосредственно руководил военными операциями. Благодаря этому, он скоро стал очень популярен в стране и сделался любимцем армии. Я не имею намерения и не считаю себя способным судить о военной деятельности великого князя, но я от всей души радовался, когда прочитал недавно в мемуарах генерала Людендорфа, как высоко этот немецкий генерал ценил стратегические планы русского верховного главнокомандующего. У последнего была одна только мысль—разбить врага, и эта мысль отодвинула у него на задний план все другие вопросы.

Начальником штаба был генерал Янушкевич, его неутомимый помощник, единственным недостатком которого была робость перед великим князем. Как живой стоит передо мной покойный генерал, ставший впоследствии жертвой революционеров, постоянно любезный, крайне услужливый, весь превращавшийся в слух во время делаемых ему докладов. Он быстро находил соответствующие распоряжения и поражал всех быстротой и правильностью своей мысли. Но в гражданских делах генерал Янушкевич был так же неопытен, как его августейший начальник. Он оставил свой пост вместе с великим князем, и его место занял командующий юго-северо-западным фронтом генерал Алексеев.

Алексеев был, в мою бытность киевским губернатором, генерал-квартирмейстером киевского военного округа, считался хорошим работником и знатоком своего дела и пользовался полным доверием и уважением командующего киевским военным округом генерала Сухомлинова. Будучи военным министром, последний хотел привлечь Алексеева к совместной работе, предполагая предоставить ему пост начальника главного управления генерального штаба. Но очень скромный по природе, генерал Алексеев не пожелал отказаться от своей киевской должности и броситься в водоворот петербургских интриг. Впоследствии он сделался начальником штаба киевского военного округа при генерал-ад'ютанте Н. И. Иванове, и в этой должности отправился на войну. Блестяще проведенные им операции в Галиции сделали его командующим северо-западным фронтом и, вскоре после этого, начальником штаба верховного главнокомандующего. Генерал Алексеев подкупал всех простотой своего обращения и серьезным отношением ко всем встре-

чавшимся на его пути вопросам. Когда его здоровье пошатнулось и он принужден был предпринять лечение, его заменил генерал В. И. Гурко.

Я познакомился с этим последним в 1907 году, когда он заканчивал в Петербурге работы, связанные с японской войной. Генерал Гурко поразил меня быстротой своего соображения и твердостью характера, так что я, имея в виду возможный уход генерала Гершельмана, занимавшего тогда пост начальника штаба отдельного корпуса жандармов, обратился к Столыпину с просьбой разрешить мне пригласить на это место генерала Гурко. К сожалению, однако, просьба моя была им решительно отклонена. Генерал Гурко находился в близких отношениях к А. И. Гучкову и этим затруднял, будучи начальником штаба верховного главнокомандующего, ту борьбу, которую правительство вело тогда с Гучковым, как с главой военно-промышленного комитета и его рабочей группы, которые открыто стали на сторону революции. Я отнюдь не допускаю, чтобы генерал В. И. Гурко мог действительно стать близко к подобному направлению—это доказал он после революции своим письмом к царю, за что „освободители“ заперли его в Петропавловскую крепость—я просто думаю, что его временную наклонность к оппозиции следует поставить в вину Столыпину.

Брат генерала Гурко, бывший товарищ министра внутренних дел, Владимир Иосифович Гурко, был один из наиболее видных бюрократов и, как человек выдающегося ума, спокойного характера и твердый монархист, играл бы очень крупную роль, если бы остался в составе правительства. Из-за дела Лидваля он попал под суд, и это обстоятельство испортило его карьеру и омрачило его жизнь, хотя судебное расследование не подтвердило слухов о

корыстных мотивах его преступления. Как убежденный монархист, В. И. Гурко был избран тверским земством в члены Государственного Совета. Он не был в явной оппозиции к правительству, но все-таки не остался совершенно чужд ее. Все эти неприятности, выпавшие на долю семьи Гурко, с правом гордившейся своим отцом, фельдмаршалом и героем русско-турецкой войны, не остались, конечно, без влияния и на В. И. Гурко, и именно в этом нужно искать, по моему, причину отклонения его влево накануне революции.

Я останавливаюсь на характеристике великого князя Николая Николаевича и начальников его штаба только с точки зрения их деятельности в чуждой им области гражданского управления, так как деятельность эта отразилась на всем государственном механизме. В первые дни войны один из генералов, стоявших во главе военного управления, спросил меня, знаком ли я с положением о полевом управлении войск в военное время, изданным накануне войны. Я ответил, что положение это является тайной и я не имел случая ознакомиться с ними. Генерал дал мне это положение и просил высказать о нем свое мнение с точки зрения техники управления. Ознакомившись с этими правилами, я был поражен тем, что, при почти неограниченных правах, предоставленных военным властям в гражданском управлении на театре военных действий и через это в военном и гражданском управлении во всей стране, остался совершенно неразработанным вопрос об органе этого управления при верховном главнокомандующем, не говоря уже о начальниках отдельных воинских частей, которым тоже приходилось выступать в роли гражданских правителей. Этим ведали особые начальники отделений по гражданским делам, назначавшиеся из

военных чиновников не выше 6-го класса, не имевших решительно никакого опыта в этом деле. По закону вся власть была, конечно, в руках высших военных чинов, но так как они были заняты исключительно военными делами и не имели никакого опыта в гражданских делах, то последние фактически почти неограниченно находились в руках более молодых чиновников.

Лучшим примером может служить деятельность молодых офицеров в роли этапных комендантов, которые считали себя чуть ли не начальниками гражданских губернаторов. Я припоминаю один такой случай, когда я был генерал-губернатором остзейских провинций.

Один начальник этапа, в чине поручика, хотел бесплатно произвести в Лифляндской губернии реквизицию какого-то очень дорогого имущества, что, по законам военного времени, разрешалось делать только в неприятельской стране. Поручик грозил расстрелять губернатора, если тот воспротивится этому, и лишь мое вмешательство в качестве военного генерал-губернатора успокоило не в меру ретивого молодого человека.

Такие случаи насчитывались, к сожалению, сотнями, и деятельность губернаторов была вследствие этого поставлена в очень тяжелые условия. Впоследствии верховный главнокомандующий убедился в этом дефекте в законах и, хотя управление гражданскими делами в ставке осталось без изменений, все же была создана должность помощника начальника двинского военного округа специально для заведывания гражданскими делами. Этот округ в административном отношении обнимал всю область, начиная от прусской границы до Псковской губернии включительно. Впоследствии такая же должность была учреждена в петербург-

ском военном округе, причем следует заметить, что одновременно были восстановлены и посты военных генерал-губернаторов.

Нарушение правильной деятельности административных органов заключалось не только в своеволии и незакономерных поступках низших чинов, но вся деятельность административного аппарата, находящегося в руках начальника гражданского управления, приносила огромный вред. Для примера укажу на реквизиционный вопрос, который находился в сфере компетенции этих органов. Когда я в августе 1914 года явился в Белосток к генералу Н. А. Данилову, главному начальнику снабжений северо-западного фронта, в распоряжение которого я был откомандирован, я нашел в полном разгаре безденежные незаконные реквизиции, хотя генерал Данилов работал день и ночь и требовал, чтобы ему докладывали о каждом деле.

Я должен отклониться здесь немного в сторону, чтобы сказать о Н. А. Данилове несколько слов. Я слышал о нем в Петербурге и встречал его несколько раз в заседаниях совета министров, где он выступал с об'яснениями по различным военным вопросам в качестве начальника канцелярии военного министерства. Он пользовался репутацией очень способного человека и когда я познакомился с ним ближе, то был прямо очарован им. В моей долголетней служебной практике мне приходилось сталкиваться с различными деятелями, но с таким обращением „начальника со своими подчиненными" я встретился в первый раз: величайшая простота, любезность, внимательное выслушивание чужих мнений, быстрота в решении всяких, даже самых запутанных, вопросов и, в то же время, полное отсутствие всякого самомнения, благодаря чему он охотно соглашался с разумными мнениями других.

Эти качества генерала Данилова дали мне основание, хотя это собственно не входило в круг моих прямых обязанностей, обратить его внимание на незаконность безденежных реквизиций, общая сумма которых достигла уже многих миллионов рублей. Генерал Данилов возразил мне, что закон разрешает подобные реквизиции. Когда же я показал ему „Положение о полевом управлении войск", где ясно сказано, что такие реквизиции дозволяются только в неприятельской стране, он был возмущен, что гражданское управление неверно осведомило его и ввело в заблуждение, так как сам он не имеет возможности следить за всей работой своих подчиненных.

Я хочу привести еще один пример того хаоса, который царствовал на этом поприще. За несколько дней до моего назначения генерал-губернатором Остзейского края, командующий двинским военным округом инженер-генерал князь Н. К. Туманов, помощником которого по гражданской части я состоял, сообщил мне, что какая-то комиссия под председательством некоего капитана Семенова реквизировала миссу товаров в рижской, либавской и виндавской таможне на много миллионов рублей. Реквизиция эта произошла уже много месяцев тому назад, а сама комиссия бесследно исчезла. В виду этого многие фирмы пострадали на очень крупные суммы. Случай этот стал известен, повидимому, начальнику снабжений фронта, так как он по телеграфу запросил о нем. Князь Туманов попросил меня расследовать это дело во время моего пребывания в Риге, куда мне в скором времени нужно было поехать по делам службы.

В Риге все мои старания разыскать следы этой комиссии были сначала совершенно безрезультатны: ни губернатор, ни другие гражданские власти, ни,

наконец, местный начальник гарнизона ничего ни знали об этой комиссии капитана Семенова, хотя в подобных комиссиях всегда должен был принимать участие представитель местной администрации. Наконец, после долгих поисков, директор рижской таможни нашел в своем архиве бумагу, из которой было видно, что комиссия капитана Семенова явилась в Ригу по приказу начальника снабжений, т. е. того самого лица, канцелярия которого теперь запрашивала об'яснений от командующего двинским военным округом насчет этой комиссии и ее руководителя. Об этом неожиданном результате я по телеграфу сообщил генералу Данилову и получил от него в тот же день предложение распорядиться о немедленном воспрещении произвольных реквизиций товаров из складов местных таможен.

Беспорядок, царивший в гражданском управлении, поставил не только местных губернаторов, но и центральные власти в тяжелое положение. Путаница еще более усилилась при попытке отделить вопросы воинских перевозок от этапной службы, которая подчинена была начальнику снабжений. Каждый командующий армией отдавал множество приказаний, которые часто противоречили и даже взаимно исключали одно другое, так что гражданские власти часто не знали, какое из этих приказаний исполнять. Местное население было этим совершенно сбито с толку и перестало окончательно разбираться в том, что позволено и что запрещено.

Но положение стало катастрофическим, когда дело гражданского управления осложнилось вопросом о контр-разведке. Не подлежит никакому сомнению, что организация последней была безусловно необходима для борьбы с неприятельским шпионажем, но и эта специальная задача была исполнена

очень неудовлетворительно, так как личный состав, занимавшийся этим и состоявший из строевых или запасных офицеров, не имел ни малейшего представления ни о сущности сыска, ни об его технической стороне, хотя некоторые офицеры и обладали юридическим образованием.

Когда контр-разведывательные отделения стали подчинены мне, как помощнику командующего двинским военным округом по гражданской части, я натолкнулся на разные курьезы, из числа которых сообщу здесь следующие два.

Начальник одного из контр-разведывательных отделений довел до сведения князя Туманова о существовании грандиозного заговора, который имеет в виду не более и не менее, как взорвать все пороховые погреба и главнейшие мосты округа. Я был тогда в служебной поездке, которую должен был прервать вследствие спешного вызова в Вильно. Я нашел командующего округом очень взволнованным и занятым принятием различных чрезвычайных мер для защиты погребов и мостов. Командующий попросил меня расследовать сделанное ему донесение. Я спросил его, из какого источника поступило это донесение, и узнал, что оно исходило, по словам начальника, от одного из его лучших тайных сотрудников. Когда же я спросил об имени этого сотрудника, то к ужасу своему услышал кличку одного из бывших тайных агентов департамента полиции, удаленного за подлог с циркулярным приказом не допускать его впредь к работе ни в одно охранное отделение. Само собой разумеется, что никакого заговора не было, и вся эта история на том и окончилась.

Другой случай. Начальник другого контр-разведывательного отделения на мой вопрос о числе его тайных агентов с гордостью отвечал, что их

у него 1.500 человек. Так как я знал размеры отпускавшихся на этот предмет сумм, то подумал, что он получает, быть может, какие-нибудь экстренные суммы в виду важности его места, и потому спросил его, как велики получаемые им на это средства. Он ответил мне очень наивно, что располагает только полагающимися ему по норме 3.000 рублей.

Эти случаи достаточно характеризуют деятельность названных отделений. Но хуже всего было то, что контр-разведка выходила далеко за пределы своих функций, вмешиваясь в борьбу со спекуляцией и дороговизной, а также в политическую пропаганду и даже в рабочее движение.

Творцом этого направления был ближайший сотрудник генерала Бонч-Бруевича, генерал Батюшин. Деятельность его превратилась в белый террор, так как он арестовывал самых разнообразных людей, даже директоров банков. Добиться от него мотивов таких арестов было невозможно даже министру внутренних дел, как это было в деле банкиров Рубинштейна, Доброго и др., которые просидели в тюрьме пять месяцев совершенно без всякого основания. Генерал Батюшин считал уместным вмешиваться даже в рабочий вопрос, посылал своих подчиненных для переговоров с рабочими и этим совершенно парализовал труды органов министерства внутренних дел, в результате чего получились стачки и забастовки рабочих.

Это создало такую опасность, что министр командировал меня в ноябре 1916 года в ставку для урегулирования этого вопроса с генерал-квартирмейстером штаба верховного главнокомандующего, которому генерал Батюшин был подчинен. Генерал Пустовойтенков был совершенно согласен со мной относительно недопустимости подобного

образа действий подчиненных ему учреждений и обещал положить этому предел, но дело нисколько не изменилось, и Батюшин попрежнему продолжал свою деятельность.

Контр-разведывательные отделения не желали подчиняться не только гражданским, но и военным властям, что я сам испытал в бытность мою военным губернатором остзейских провинций. В Риге я получил однажды телеграмму с подписью начальника штаба 6-й армии полковника Бонч-Бруевича с предложением немедленно выслать, по приказу верховного главнокомандующего, дворянского ландмаршала на острове Эзеле барона Буксгевдена и шесть местных землевладельцев, в числе которых находился и член Государственного Совета фон-Экеспаре.

Я считал такую меру совершенно недопустимой и, так как я ничего не знал о вредной деятельности названных лиц, то запросил полковника Бонч-Бруевича о причинах этой высылки и получил в ответ, что это тайна контр-разведывательного отделения. Таким образом, какие-то данные, находившиеся в руках какого-то запасного поручика, являлись тайной для начальника края, который на основании особой инструкции о порядке гражданского управления, утвержденной верховным главнокомандующим, обладал правами корпусного командира. Такой порядок вещей я считал недопустимым уже с точки зрения дисциплины и обратился поэтому по телеграфу в ставку, после чего высылка была отменена.

Мои попытки урегулировать этот вопрос и разработанные мной инструкции, согласно которым контр-разведка переходила всецело в руки чинов отдельного корпуса жандармов, с обязательством расследовать все данные о неприятельском шпио-

наже, встретили сильное сопротивление со стороны Бонч-Бруевича и—к великому моему удивлению—также со стороны начальника корпуса жандармов генерала Джунковского, который, очевидно, боялся увеличения полномочий своих офицеров. Изданные штабом верховного главнокомандующего инструкции для контр-разведывательных отделений содержали множество недостатков, свидетельствовавших о слабом знакомстве их авторов с практикой розыскного дела и подвергшихся острой критике со стороны ген. Джуиковского, но это не помешало, однако, введению этих инструкций.

Распоряжения военных властей по части гражданского управления, как высылки обывателей, эвакуации промышленных предприятий и тому подобное, о чем я подробнее поговорю еще потом, сыграли при общем развале всего государства значительную роль и оказали на революцию огромное влияние.

ГЛАВА XVI.

Политическое воодушевление, которым была охвачена Россия с первого момента войны, выразилось в единодушном стремлении всех общественных слоев притти на помощь армии. Это единодушие получило свое осуществление в уходе за ранеными и больными, в снабжении солдат теплой одеждой, равно как в массе подарков, которые посылались на фронт и которые выражали собой любовь народа к армии.

С начала военных операций главная забота была направлена на создание госпиталей и санитарных поездов. Тысячи людей жертвовали добровольно груд и деньги с этою благою целью. Лазареты и

санитарные поезда были созданы членами царской фамилии, различными общественными организациями и даже частными лицами. Нельзя сказать, что эти главнейшие нужды, которые все с такою готовностью стремились устранить, обусловливались недостатками санитарного дела военного министерства, так как с первых дней войны было достаточно государственных госпиталей и санитарных поездов. Конечно, в них не было такого комфорта и такой роскоши, как в частных госпиталях и лазаретах, но это нетрудно об'яснить колоссальной разницей в средствах, отпущенных на это военным ведомством и частной благотворительностью.

Очень скоро к патриотическим чувствам присоединились эгоистические побуждения, и — что было еще хуже—помощь, оказанная геройским бойцам, все более и более становилась средством для борьбы против правительства. Союзы земств и городов, охватившие все общественные организации, развили между ранеными, как и среди войск на фронте, энергичную пропаганду: на малейшие промахи военных начальников солдатам указывали, как на систематические хищения и преступления, причем определенно говорили о вине некоторых лиц, занимавших руководящее положение в военном министерстве и, вместе с тем, косвенно о вине самого царя.

Наконец, стали особенно сильно распространять мысли о бесцельности настоящей войны среди раненых и преимущественно среди меннонитов, которые употреблялись на войне не в качестве солдат, а санитарных служителей. Главный начальник военных снабжений на северо-западном фронте счел необходимым приказать, чтобы санитарные поезда союзов земств и городов допускались только в значительном расстоянии от фронта и чтобы поезда эти развозили только лишь тяжело раненых, так как па-

цифистская пропаганда не могла, конечно, среди них иметь ни малейшего успеха. Главным козырем подобной агитации являлась легенда о Распутине, которая широко была распространена между офицерами и солдатами.

Возникший без разрешения земско-городской союз стал могучей организацией, сделавшись как бы вторым правительством, и это представляло собою серьезную опасность, особенно, если принять во внимание упомянутое стремление его подорвать авторитет монарха.

Предпринятое нами для спасения союзников наступление на Восточную Пруссию и Галицию, разрушившее наш ранее составленный план, по которому мы должны были оттянуть наши войска до линии Вислы, вызвало огромный расход в снарядах, рассчитанных только на защиту, а не на наступление, тем более, что министерство финансов старалось постоянно урезать расходы на военные нужды. Приготовления к осуществлению названного плана были начаты еще в мирное время и выразились в разоружении крепостей, расположенных по реке Висле, но потом, с началом войны, крепости эти нужно было опять начать вооружать очень спешно, так сказать, на глазах неприятеля.

Я уже приводил раньше характерную фразу Коковцова: „У нас, может быть, еще будет война". И вот война явилась совершенно неожиданно. Вина в недостатке снарядов, явившемся из-за указанных причин, была всецело приписана военному министерству и его руководителям, причем представители Думы и печати требовали привлечения общественных организаций для деятельности на этом поприще, как единственного средства спасения.

Еще в 1915 году, в бытность генерал-ад'ютанта Сухомлинова военным министром, возникло „Особое

совещание по обороне страны", куда вошли чины военного министерства, члены Думы и Государственного Совета, а также представители общественных организаций. Никому не придет в голову отрицать ту пользу, которую принесло это совещание; но плохо было то, что все более и более сильные нападки на военное министерство поставили служащих его в незавидное положение, вследствие чего руководящая роль перешла к частным обществам. То же самое повторилось в военно-промышленном комитете, особенно когда А. И. Гучков занял в нем место председателя. С его помощью от центра отделилась „рабочая группа", которая вместо того, чтобы заняться интенсивной работой, тотчас ударилась в политику и занялась всевозможными проектами рабочего законодательства. Из боязни потерять популярность среди рабочих руководители военно-промышленного комитета наружно согласились с самыми чудовищными их требованиями, но одновременно сообщили министру торговли и промышленности, что выработанные рабочей группой положения неприемлемы и в высшей степени революционны. Таким образом, гг. Гучков, Коновалов и Изнар переложили одиум за неудачи рабочих на правительство.

Важную роль в этом совещании играл председатель Думы М. В. Родзянко, который, кроме своего положения, импонировал своими выступлениями и таинственным видом. В заседаниях совещания постоянно раздавались беспощадные нападки на правительство. Родзянко шел рука об руку с Гучковым, игравшим в деле разрушения России слишком роковую роль для того, чтобы я мог пройти мимо, не остановившись на нем несколько подробнее.

Московский коммерсант, любитель приключений по натуре, умный и талантливый практик, политик,

претендующий на власть, Гучков, побуждаемый безграничным тщеславием, пользовался всякими проявлениями государственной и общественной жизни, чтобы выдвинуться вперед и добиться популярности. Вернувшись в Россию с бурской войны, в которой он принимал участие в качестве добровольца, он в октябрьские дни 1905 года явился одним из основателей партии октябристов. Нельзя отрицать, что в это время он принес огромную пользу, удержав общественное движение Москвы в границах государственности, и проявил незаурядное мужество, открыто выступив против крайних левых партий.

Столыпин, как известно, опирался в своей деятельности на центр Думы, который в начале состоял главным образом из октябристов, благодаря чему Гучков, избранный председателем Думы, стал в более или менее близкие отношения к Столыпину и оказывал даже известное влияние на него. Но Столыпин не легко заблуждался: он скоро понял, что опасный для правительства критик его политики в сущности негоден ни к какой полезной, а тем более созидательной работе. Гучкова скоро раскусили и в Думе, и потеря им авторитета заставила его сложить с себя председательство в Думе под предлогом необходимой поездки на Дальний Восток для надобностей Красного Креста. Его избиратели не простили ему этого трусливого бегства, и в 4-ую Думу он уже вообще не был больше избран.

Царь отлично понимал Гучкова и презирал его. Когда ему представлялись члены 3-ей Думы, он обратился с вопросом к Гучкову, от кого он избран в депутаты: от города Москвы или от московской губернии. Этой невнимательности к своей особе Гучков не мог простить ему. Как смел царь не знать карьеры „знаменитого“ Гучкова? Обиженное мелочное самолюбие породило враждебность к царю,

которой Гучков не скрывал и в частных разговорах, позволяя себе оскорбительные отзывы о монархе. Эта злоба и ненависть к царю была потом главной пружиной его революционной деятельности, которая особенно резко выступила в последние месяцы перед февральской революцией, когда он не стеснялся, в качестве сперва особо-уполномоченного Красного Креста, а потом председателя военно-промышленного комитета, вести противоправительственную пропаганду. Этим он обратил на себя внимание главного начальника военных снабжений северо-западного фронта, генерала Данилова, который сделал представление в ставку о вредной деятельности Гучкова.

Так как он хорошо знал, что открытые нападки на монарха могли иметь нежелательные последствия, то он делал это косвенным образом, дискредитируя близко стоявших к нему лиц, напр., военного министра Сухомлинова.

Приэтом он исходил из правильных соображений, что обвинения, пред'явленные к последнему, косвенным образом задевают и царя. Но и это он проделывал очень осторожно, и ему нельзя отказать в планомерности. В этой деятельности оказывал ему поддержку его почтенный сотрудник, прежний товарищ военного министра генерал Поливанов.

Фазы борьбы очень характерны для Гучкова.

Первой бомбой, брошенной Гучковым, усвоившим, очевидно метод борьбы революционеров, было обвинение прикомандированного к военному министру полковника Мясоедова в государственной измене. Хотя Гучков дерзко заявил, что у него имеются неопровержимые доказательства этого преступления, но их не видел до сих пор ни один человек; точно так же и расследование, произведенное военным прокурором, не выяснило никаких доказательств ви-

новности Мясоедова. Тем не менее военный министр удалил его от себя, так как заявление Гучкова, при способности нашего общества придавать значение фантазиям, произвело известное впечатление. Нужно сказать, что Гучкову удалось проникнуть в сокровенные тайники души окружающих и повлиять на судей так, что Мясоедов был осужден и казнен. Отдельные подробности этого процесса мне незнакомы, но после революции дело Мясоедова было пересмотрено, причем все его товарищи по обвинению были оправданы.

В процессе генерал-ад'ютанта Сухомлинова Гучков играл главную роль особенно во время расследования его дела, причем он воспользовался своими близкими отношениями к генералу Поливанову.

Обвиняя кого-нибудь, Гучков не приводил обыкновенно никаких доказательств его виновности. Достаточно было бы этих приведенных черт характера Гучкова, если бы не мысль, что Россия обязана ему не только падением царской власти, но и развалом своей мощи и потерей значения великой державы. Затем Россия обязана ему большевизмом, изменой союзникам, в чем теперь последние несправедливо обвиняют весь русский народ, наконец, убийством тысяч офицеров, кровь которых залила всю Россию—обо всем этом русский человек молчать не может.

Можно было бы думать, что такой строгий критик военного министерства, как Гучков, достигнув, наконец, возможности стать во главе его, покажет, что может сделать военный министр для блага родины. Однако, нет никаких следов его плодотворной работы на этом поприще, но одного добился во всяком случае этот новоиспеченный „спаситель" России: он уничтожил армию и довел ее до полного развала. Я слышал, будто Гучков оспаривает автор-

ство приказа № 1, уничтожившего дисциплину в армии. Допустим, что авторами этого приказа являются Соколов и Нахамкес; но все же именно военный министр Гучков и его друг генерал Поливанов дали этому роковому приказу законную силу, включив его в изданный ими сборник военных постановлений.

Судя по их действиям, вожди так называемой „великой" русской революции руководствовались примерами французской революции, к которой скорее уже подходит эпитет „великой". Жаль только, что они в этой истории не вычитали о дисциплине во французских войсках, введенной Карно, за что он получил прозвание „отца победы",—в войсках, которые сражались у пирамид в Египте, в Италии и под знаменами тогдашнего революционного генерала, впоследствии императора, Наполеона I, победившего всю Европу. Можно возразить, что Гучков был недолго военным министром и скоро передал начальство над русской армией помощнику присяжного поверенного Керенскому, и что русская армия и во время Гучкова исполнила бы свои обязанности по отношению к союзникам. Но и сам гений зла не мог бы уничтожить в несколько часов чудную победоносную русскую армию—Гучков же погубил ее, уничтожив в ней дисциплину и убив ее дух. Только лишь потерявшая всякую дисциплину и совершенно разложившаяся армия могла совершить такие ужасы, какие были совершаемы русской армией в Калуще.

Россия не будет праздновать своего возрождения, если в нем примет участие под каким бы то ни было видом Гучков.

Личности Родзянки и Гучкова несомненно придали окраску деятельности совещания по обороне и военно-промышленного комитета. Я далек от

мысли отрицать пользу этих организаций, созданных войной, хотя я не уверен, что десятки израсходованных ими миллионов рублей принесли бы меньше пользы в руках военного министерства, которое постоянно обвиняют в злоупотреблениях. Я не буду отрицать последних, но, с другой стороны, мне совершенно неизвестны случаи, в которых высшие чины военного министерства являлись бы сами поставщиками для армии. Зато документально доказано, что известные деятели, работавшие в этих организациях, получили миллионные заказы на спешную изготовку военных материалов, в то время как фактически они никакими товарами не располагали и заказов этих, стало быть, выполнить не могли. Другие из них продали промышленные предприятия и свои земли втридорога, что вызвало громадную задолженность этих предприятий.

Польза, принесенная России совещанием по обороне и военно-промышленным комитетом, парализовалась вредом, принесенным ими ее государственному спокойствию. Подобно союзу земств и городов, они образовали нечто в роде параллельного правительства, задачей которого явилось уничтожение государственной мощи России. Правда, совещание по обороне и военно-промышленный комитет не занимались пропагандой, но зато они всякими другими средствами подрывали авторитет правительства. Комитет и его „рабочая группа" свободно неслись по волнам революционного моря. Этой группы нельзя было затронуть, так как все, монополизировавшие патриотизм и заботу о нашей военной безопасности, поднимали сейчас же крик, уверяя, что всякая мера, направленная против революционного движения, повлечет за собою последствия, непоправимые для исхода войны. Между тем эта рабочая группа, к составу которой принадле-

жали известные партийные вожаки, нисколько не интересовалась специальными военно-техническими вопросами, а все свое внимание уделяла исключительно планам революционеров, работавших во имя ниспровержения существующего строя. Когда, наконец, деятельность этой группы приняла еще более интенсивный характер, и она занялась даже открытыми призывами к восстанию, правительство принуждено было вмешаться в дело и арестовать всю группу.

Насколько работа этой группы действительно соответствовала своему назначению, видно хотя бы из того, что в заседаниях ее принимал участие и Керенский, хотя он не был ни рабочим, ни членом военно-промышленного комитета.

С деятельностью совещания по обороне и военно-промышленного комитета, равно с его специально военными задачами я ближе познакомился в бытность мою генералом-губернатором Остзейского края и думаю посвятить этому вопросу особую главу, в которой буду говорить о моей службе в Риге.

ГЛАВА XVII.

Недостатки нашего военного министерства, обнаруженные войной, и поход против главы его из упомянутых мной политических соображений, непомерно раздутых печатью, были причиной удаления генерал-ад'ютанта Сухомлинова с поста военного министра и его судебного преследования. Нельзя сказать, что такой исход этой кампании явился совершенно неожиданным: к нему готовились задолго до войны и тонко и осторожно плели сети.

Военный министр пользовался благоволением государя, который видел в нем силу, деятельно и

плодотворно работавшую для восстановления русской армии после японской войны. К политической партии, боровшейся с ним и возглавлявшейся Гучковым, присоединился, по совершенно непонятным причинам, министр финансов В. Н. Коковцов, ставший по смерти Столыпина председателем совета министров. Я говорю „по непонятным причинам", так как не нахожу для этого никаких об'яснений, кроме того разве, что он слепо, из чувства безграничного самолюбия, стал на сторону политических врагов Сухомлинова, чем заведомо принес государству огромный вред.

Когда Столыпин был председателем совета министров, Коковцову, как министру финансов, только с большим трудом удавалось урезывать кредиты на военные нужды, и то Столыпин умел всегда, благодаря своему государственному уму, парализовать его вредное влияние в этом отношении.

Став премьер-министром, Коковцов не делал больше тайны из своей вражды к товарищам по кабинету. При своем тщеславии он не мог мириться с благосклонностью царя к Сухомлинову и с тем, что последний, в случае надобности, обращается прямо к монарху с просьбой о помощи, когда что-нибудь вредное угрожало русской армии со стороны Коковцова — благодаря этому положение Сухомлинова в этой „бюрократической" борьбе оставалось более или менее прочным.

Гучков работал медленнее, но зато вернее. Его агитация против полковника Мясоедова, о которой я говорил, не осталась без влияния и явилась тольк первым пробным шагом этого политического выскочки. Бороться с военным министром в мирное время — для этого не хватило бы сил даже самого Гучкова, который считал себя знатоком военного дела, так как у него не было никаких отношений

с военным министерством, которые давали бы ему возможность быть в курсе всех недочетов и недостатков, неизбежных во всяком деле, особенно, в таком сложном и большом, как руководство военным ведомством. Но эти отношения были созданы при посредстве генерала Поливанова. Он был, несомненно, выдающимся специалистом на почве военного хозяйства, и ему, по распоряжению министра, была совершенно подчинена именно эта часть министерства. Все необходимые об'яснения по военно-техническим вопросам давал всегда генерал Поливанов как в совете министров, так и законодательных палатах.

Вначале генерал Сухомлинов очень ценил своего помощника, но отношения к нему стали постепенно изменяться к худшему, по мере того как генерал Поливанов, по примеру многих бюрократов того времени, стал приобретать расположение в думских кругах и этим приносить в жертву свой авторитет представителя власти. Его сближение с Гучковым перешло скоро в тесную дружбу, и думские круги оказывались, благодаря этому, осведомленными очень тенденциозно в вопросах, которые их совершенно не касались. Само собою разумеется, что такой сотрудник оказался негодным для человека, живо интересовавшегося делами своего ведомства и желавшего оставаться его хозяином.

Царь находился в Крыму и Сухомлинов воспользовался одной из своих поездок к нему для того, чтобы испросить удаления Поливанова из военного министерства и назначения его в Государственный Совет. Об этом он неожиданно об'явил Поливанову на вокзале при своем возвращении в Петербург. Можно представить себе, какую жажду мести зажгло это сообщение в душе Поливанова, кото-

рый, при явном сочувствии к нему председателя совета министров, сам надеялся в скором времени стать главою военного министерства.

Вот причины их вражды, которая имела такое серьезное значение для процесса генерала Сухомлинова. Генерал Поливанов выступил в нем свидетелем против министра, но, связанный военной этикой, не мог дать воли своим враждебным чувствам, зато снабдил всеми необходимыми в этом отношении данными своего друга Гучкова.

Положение военного министра затруднялось в высокой степени тем обстоятельством, что в военном ведомстве были должности генерал-инспекторов инфантерии, кавалерии, артиллерии и инженерного корпуса, из числа которых две последние были заняты особами царской фамилии. Великий князь Сергей Михаилович, выдающийся знаток артиллерийского дела, расширил на практике поле своей деятельности и фактически являлся начальником артиллерийского ведомства, каковой пост занимал в то время весьма почтенный, но не пользовавшийся никаким влиянием генерал Кузьмин-Караваев. Мои добрые отношения к генералу Сухомлинову, особенно укрепившиеся во время нашей совместной службы в Киеве, не изменились, и я часто навещал его и дружески беседовал с ним.

Во время одного из моих посещений генерал Сухомлинов жаловался мне, что ему очень трудно справляться со всеми отделами военного ведомства.

— Слава Богу,—сказал он,—мне это понемногу удалось. Вот только с главным артиллерийским управлением никак не могу справиться, так как великий князь Сергей Михаилович не дозволяет фактически вмешиваться в дела этого ведомства.

Но и эта борьба не прошла бесследно для Сухомлинова, потому что великий князь причислил

себя к числу его врагов. В то же время и отношения к нему великого князя Николая Николаевича также изменились к худшему.

Но все эти обстоятельства не могли парализовать деятельность Сухомлинова на пользу русской армии, так как он пользовался поддержкой царя. Конечно, он сделал много для устранения тех недостатков, которые были известны со времени японской войны. Он был творцом русской военной авиации, поставил на надлежащую высоту мобилизацию армии, представил в Думу новый закон о воинской повинности, улучшил ремонт кавалерии, ее ветеринарную часть, реорганизовал хозяйственную организацию армии, поднял образование в ней, введя кадры нижних чинов, остающихся в армии по выслуге лет, и ввел массу преобразований и нововведений в военно-учебных заведениях. Наконец, он провел, несмотря на все указанные трудности, перевооружение артиллерии. По словам чиновников военного ведомства, управление Сухомлинова военным ведомством, вследствие основательных реформ, было гораздо плодотворнее, чем его предшественников.

Реформы его блестяще выдержали испытание в настоящей войне. Мобилизация произошла на 24 часа раньше, чем этого требовал закон, в полном порядке, военные пути сообщения проявили максимальную провозоспособность, интендантство оказалось неизмеримо выше, чем во время прошлых войн, что было признано как союзниками, так и неприятелем. Успех мобилизации сделал генерала Сухомлинова в начале войны популярнейшим лицом в России — достаточно вспомнить похвальные отзывы о нем всей печати. Но его политические враги не дремали—и вся его основательная работа оказалась никчемной, когда обнаружился первый недочет—недостаток в снарядах.

Этот недостаток вызвал возмущение в обществе, легко, конечно, возбудимом в военное время, хотя военный министр не допустил в этом отношении никакой ошибки, о чем свидетельствует генерал Людендорф в своих „Воспоминаниях".

„В это время, то-есть в январе 1915 года,—пишет немецкий генерал [1]),—положение дел на западе было несколько иное: там обнаружился огромный недостаток в снарядах. Все воюющие народы недостаточно правильно оценили как значение очень концентрированного артиллерийского огня, так и расход снарядов".

Под влиянием негодования общества, вызванного агитацией, и при наклонности царя к строгому соблюдению закона, была назначена особая следственная комиссия под председательством генерала Петрова для рассмотрения деятельности ушедшего в отставку военного министра. Комиссия занялась не только выяснением недостатков военных заготовлений и растрат, но и другими весьма серьезными, неожиданно вставшими перед нею вопросами, именно государственной изменой Сухомлинова.

Юридической частью этой комиссии ведал сенатор Н. П. Посников. Когда он был прокурором московской судебной палаты, я был там товарищем прокурора. Мы с ним были в наилучших отношениях, даже на „ты".

Во время нашего свидания зашла речь о Сухомлинове, и я с ужасом услышал, что Посников считал обвинение его в измене не лишенным основания.

---

[1]) Эрих Людендорф. „Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг.". Берлин, 1919. Русский перевод этой книги появится у нас в скором времени.

Прим. переводчика.

Зная его, как непредубежденного, честного и беспартийного юриста, я не мог сомневаться в искренности его мнения. Когда я сказал ему, что знаю уже давно Сухомлинова, уважаю и ценю его, а возбужденный против него процесс считаю результатом политической интриги, Посников с удивлением возразил мне:

— Знаешь, но в его доме сходятся нити восьми шпионажных организаций — о Мясоедове я уже не говорю.

Я возразил своему старому товарищу, что в этом нет ничего удивительного, как не было бы удивительно, если бы нити таких организаций сходились в доме начальника генерального штаба, министра иностранных дел и т. д., так как это лежит уже в самой сути вещей.

Возражения мои не имели, однако, никакого успеха, и я понял, что процесс генерала Сухомлинова окончится для него плохо, так как было ясно, что лучшие из следователей находятся под гипнозом общественного мнения. Последнее энергично муссировалось генералом Поливановым и очень обострилось благодаря процессу Мясоедова, осужденного и казненного за шпионство и хищения уже во время войны.

Я не имею в виду останавливаться здесь на подробностях сухомлиновского процесса, так как не хочу повторять старых отчетов о нем, печатавшихся в газетах всех стран. Оставаясь верным замыслу своей книги, я хочу рассказать лишь с одной стороны свои личные воспоминания об этом процессе, а с другой — изобразить грубое нарушение элементарнейших требований этики и судопроизводства, имевшее приэтом место, значение процесса для государя и правительства, влияние его на подготовку революции и, наконец, привести краткую

оценку всего этого дела со стороны одного из наиболее выдающихся государственных людей Англии.

Когда еще шло расследование в комиссии генерала Петрова, сенатор Посников обратился ко мне с официальным требованием сообщить ему данные о полковнике Мясоедове, относящиеся к тому времени, когда он состоял на службе в корпусе жандармов. В своем ответе я сообщил Посникову, что Мясоедов оставил службу в корпусе еще до моего назначения, а данные, имевшиеся о нем в корпусе, я переслал военному министру по его требованию. В них не было никаких указаний на причастность Мясоедова к какому бы то ни было шпионажу, и вопрос об этом до выступления Гучкова никогда не возникал. Предпринятое в этом смысле расследование не дало ничего, что позволяло бы заподозрить Мясоедова. Я привел и причину ухода его со службы в корпусе.

Когда полковник Мясоедов был начальником железнодорожного жандармского отделения в Вержболове и выступил в качестве свидетеля перед судом виленского военного округа в одном процессе, где дело шло о контрабандной провозке оружия одним из жандармов, он дал неблагоприятный отзыв об одном из своих товарищей по корпусу, корнете Пономареве. Дело в том, что незадолго до возникновения этого процесса директор департамента полиции Трусевич откомандировал Пономарева за границу для негласного наблюдения за ввозом оружия в Россию. Приэтом Трусевич из каких-то коварных соображений не поставил в известность Мясоедова об этой командировке Пономарева. Корнет Пономарев был типичный провокатор, вследствие чего я не только удалил его из корпуса, но еще предал суду.

По поводу этой справки Трусевич пришел в большое возбуждение, и этот случай был представлен Столыпину, как отвратительное нарушение Мясоедовым товарищеской этики. На докладе об этом Столыпин написал следующую резолюцию: „Перевести полковника Мясоедова на ту же должность, но не ближе Урала", и Мясоедов подал в отставку. Когда военный министр по просьбе Мясоедова вздумал взять его к себе на службу, он спросил по телефону моего мнения о нем. В своем ответе я сообщил ему в краткой форме все изложенное, как я слышал это в департаменте полиции. и добавил, что полковник Мясоедов мне лично не внушает ни особенного доверия, ни симпатии. В результате этих переговоров я получил на этот счет официальный запрос от военного министра. В виду этого я приказал начальнику штаба заготовить официальную бумагу на основании служебных данных о Мясоедове, в которой указал и упомянутые частности, но, конечно, не впечатления, полученные мной о нем в качестве частного лица при моем проезде через Вержболово.

Я считал вопрос этот исчерпанным, но следователи придали ему, очевидно, серьезное значение, и когда материал следственной комиссии генерала Петрова был передан упомянутому сенатору Кузьмину для производства предварительного расследования, последний пригласил меня в качестве свидетеля и задал мне те же вопросы о полковнике Мясоедове.

Я не мог ничего добавить к своему письменному сообщению сенатору Посникову, чем остался недоволен присутствовавший при моем допросе обер-прокурор уголовно-кассационного департамента В. Н. Носович, который не мог согласиться с тем, чтобы я не знал о шпионской деятельности

Мясоедова, в то время, как о ней говорила вся Дума.

Я знал Носовича со времени своей военной службы. Впоследствии мы были вместе с ним товарищами прокурора московской судебной палаты, и я сохранил связь с его семьей, так как сестра Носовича была замужем за А. Д. Протопоповым. Носович заставил говорить о себе после его выступления в качестве обвинителя по делу московского градоначальника генерала Рейнбота, причем проявил необычайную способность послушно исполнять не только приказания, но даже намеки своего начальства. Из его вопросов, обращенных ко мне, я понял, что он в процессе Сухомлинова играл такую же роль, и потому резко отвечал ему, что не разделял его предположений и что если бы у Столыпина или у меня нашлись подобные данные, мы дали бы им законный ход.

Мне, как старому прокурору, было ясно, что Сухомлинову нечего надеяться на беспристрастие судей. И, действительно, я не ошибся: в течение всего процесса ясно выступали нарушения закона, причем расследование покоилось на недопустимом с точки зрения уголовно-судебной практики выяснении частной жизни супругов Сухомлиновых.

Генерал Сухомлинов и жена его были обвинены в государственной измене и он был посажен в Петропавловскую крепость. Это находилось в полном противоречии с уголовной практикой. Именно, с целью ограничить обвиняемому, которому угрожает уголовное наказание, возможность уклонения от судебного преследования, закон разрешает арестовать его, но статьи 419—421 уголовного уложения ясно говорят о том, что при этом должны быть приняты во внимание все другие обстоятельства: прежде всего улики против него — генерал

Сухомлинов был оправдан революционным судом по обвинению в государственной измене, стало быть речи о сериозных уликах против него и быть не могло. Затем должна быть принята во внимание возможность сокрытия следов „преступления“ — смешно говорить об этом, когда он в течение полутора лет комиссии генерала Петрова и не подумал об этом. Наконец, необходимо считаться с возрастом и общественным положением обвиняемого: Сухомлинов был генерал-ад'ютант и военный министр и ему было около 70 лет.

Таким образом, в отношении его была допущена незаконная и нелепая жестокость—результат политической травли.

Никому не приходило в голову—ни Коковцову, ни Поливанову, ни Гучкову, ни, наконец, их послушным и ретивым единомышленникам,—подумать о фатальных последствиях того, что пребывание в тюрьме полного генерала и кавалера георгиевского ордена, носящего форму, должно было развращающе действовать на военную стражу и поселить уже тогда в солдатах ненависть к высшим начальникам, которую они проявили во время революции в такой зверской форме. Эту ошибку повторило и Временное Правительство, когда заключило в тюрьму высших чиновников царского режима. И тогда никто не предвидел опасности, угрожавшей дисциплине вследствие того, что некоторые из заключенных были оставлены в своих форменных платьях. Но как, спрашивается, мог „военный“ министр Гучков думать о сохранении дисциплины, когда он делал все, чтобы ее разрушить? Судебный следователь Колубинский пытался иметь через департамент полиции наблюдение над лицами, имевшими отношение к министру и его жене. Но этот прием не дал никаких результатов,

хотя денег для этого не щадили. Нельзя отказать этому следователю в энергии, так как он заподозрил даже в смысле шпионажа сообщение старого знакомого г-жи Сухомлиновой Альтшиллера в письме к ней из-за границы, что в курорте идут частые дожди.

С этим Альтшиллером я не был знаком, но в бытность мою киевским генерал-губернатором я слышал о нем, как о крупном коммерсанте и богатом человеке. Его дом был одним из красивейших в Киеве. Дела его постепенно расстроились; он принужден был продать свой дом и впал в полную нужду, так что его взрослые сыновья должны были сделаться мелкими торговцами—это было более, чем странно, если бы Альтшиллер был германским или австрийским шпионом. Его услуги должны были бы оплачиваться очень щедро, так как он был знаком с командующим войсками киевского военного округа генералом Сухомлиновым, который был его старым приятелем и, став военным министром, не изменил своих отношений к нему.

После революции я просидел почти пол-года в Петропавловской крепости, где заболел и был переведен в больницу петербургской одиночный тюрьмы. Здесь я случайно познакомился с прежним управляющим делами главного артиллерийского управления, полковником В. Т. Ивановым, который был замешан в процессе Мясоедова и приговорен к каторжным работам. В то время шла речь о пересмотре всего процесса, и, благодаря этому, было приостановлено, по предложению военного прокурора, судебное преследование за отсутствием состава преступления полковника Иванова, жены Мясоедова и других лиц. Между прочим, полковник рассказал мне, что обвинение генерала Сухомлинова в том, будто он из корыстных побуждений про-

водил один тип артиллерийского орудия преимущественно перед другими, является в сущности его огромной заслугой перед русской артиллерией, так как выдающиеся качества этого орудия были признаны не только союзниками, но и неприятелем. Орудие это давало возможность „зенитного“ обстрела.

Таковы были наиболее важные из восьми шпионских организаций, нити которых будто бы сходились в доме генерала Сухомлинова.

Судебное ведение дела под председательством сенатора Таганцева (сына знаменитого криминалиста) и при прокуроре Носовиче было не только нарушением, но даже глумлением над законом. Весь процесс протекал под давлением и при постоянных угрозах военной охраны преображенского и волынского гвардейских полков, которые—сказать мимоходом—явились инициаторами восстания в феврале 1917 года. Временное правительство дрожало перед этими войсками, благодаря которым власть перешла в руки революционеров; войска эти хорошо знали себе цену и не очень-то повиновались своим новым властелинам; они постоянно требовали изменения формы пресечения по отношению к Сухомлинову и его жене, причем дерзко заявляли, что судебное расследование длится слишком долго, и что они сами расправятся с арестованными.

Своеволие солдат нельзя, конечно, ставить в вину представителям судебного ведомства, но с точки зрения морали и закона поведение председательствующего сенатора и прокурора, вступавших во время перерывов в частные беседы со стражей по поводу отдельных пунктов обвинения Сухомлинова, является, конечно, недопустимым. Эти представители юстиции боялись речи талантливого защитника г-жи Сухомлиновой, адвоката Казаринова, которую

публика приветствовала громкими аплодисментами, что привело в ярость сенатора Таганцева, приказавшего очистить зал.

Что сказать о резюме председателя, сказанном в форме, безусловно запрещенной законом и возмутившей всех честных людей? Революционеры оказались во всяком случае честнее, чем эти представители суда: выступивший впервые на суде в качестве помощника прокурора Данчич в своей речи откровенно сознался, что генерал Сухомлинов, быть может, и не виноват, но для успокоения возбужденного общественного мнения необходимо вынести ему обвинительный приговор, чем, впрочем, не исключается впоследствии возможность пересмотра всего процесса.

Несмотря на своеобразное положение этого дела в суде, г-жа Сухомлинова была оправдана, но оппозиционные деятели, сражающиеся всегда против всякого произвола, продержали ее еще полгода в Петропавловской крепости на солдатском пайке. Присяжные заседатели, судившие Сухомлинова, не признали его виновным в государственной измене, но благодаря сенату все же явилась возможность присудить его к пожизненным каторжным работам.

Большевистское правительство распространило амнистию и на 70-летнего измученного старика, и он был освобожден из заключения.

Я привел подробности тех преследований и ужасов, которые пришлось пережить бывшему военному министру, остановился на всех нарушениях закона, к которым прибегали в течение этого процесса, и все же должен, в конце концов, сказать, что как бы я ни сочувствовал его страданиям, на первом плане у меня находится непоправимый вред, причененный этим процессом авторитету не только власти, но и самого царя. Этот способ политиче-

ской борьбы оказался для династии царя более опасным, чем легенда о Распутине.

Мой взгляд на это совершенно совпадает с мнением лорда Грея. Когда думская депутация в январе 1916 года посетила Лондон, лорд Грей, беседуя с председателем ее, тогдашним товарищем председателя Думы, А. Д. Протопоповым, о деле Сухомлинова, выразился следующим образом: „У вас несомненно смелое правительство, если оно решилось во время войны поднять дело против военного министра по обвинению его в государственной измене".

ГЛАВА XVIII.

Упомянутые мной нежелательные обстоятельства, которые создали такой беспорядок в гражданском управлении на театре военных действий и в государственном строе всей страны, и которые явились одной из главнейших причин революции, стали мне ясны только тогда, когда я снова вступил в службу, сперва на фронте, а потом в Петрограде.

В момент об'явления войны я не состоял на службе и потому позволил себе в первый же день написать царю письмо, в котором говорил, что моя вынужденная и вследствие киевского процесса затянувшаяся бездеятельность стала для меня прямо невыносимой и потому я осмеливаюсь просить, как милости, о предоставлении мне возможности послужить в это тяжелое для России время по мере моих сил царю и отечеству. Письмо это было передано царю генерал-ад'ютантом Сухомлиновым.

Государь очень милостиво отнесся к моему прошению, и я снова был зачислен на службу без особого назначения впредь до определения меня на соответственную должность.

10 августа 1914 года военный министр сообщил мне по телефону, что он получил телеграмму от верховного главнокомандующего с приказанием откомандировать меня и бывшего московского градоначальника, генерала А. А. Рейнбота, в распоряжение главного начальника снабжений армий северо-западного фронта, а генералов графа Бобринского и барона Кнорринга—юго-западного фронта. Генерал Сухомлинов советовал мне немедленно уехать, так как мне предстояло занять пост генерал-губернатора Восточной Пруссии, что было вполне возможно при быстром движении вперед наших войск по этой части неприятельской территории. На следующий день мы все уехали из Петрограда, и хотя поезд, в котором мы ехали, был переполнен, но начальник северо-западных дорог, гофмейстер Ф. М. Валуев, все же дал нам отдельный вагон.

Ужасные дни русской революции для нас, старых слуг царской России, очень тяжелы, так как, не говоря уже о нравственных и физических страданиях, выпавших на долю многих из нас, мы потеряли в это время дорогих родных и друзей. Вот причина, почему я при описании текущих событий буду по временам невольно уклоняться в сторону и посвящать хоть по несколько слов тем из погибших друзей, имена которых так или иначе связаны с этими событиями. Одним из них является погибший Ф. М. Валуев—одна из первых жертв „бескровной русской революции", как с гордостью выразился о ней комиссар Временного Правительства, стоявший во главе охранной службы, когда мы, прежние слуги царской России, сидели арестованными в министерском павильоне Государственной Думы.

Валуев был безукоризненно честный и безгранично добрый человек. Его отношение к подчинен-

ным приобрело ему всеобщую любовь их. Он оказал делу войны огромные услуги, так как подчиненные ему северо-западные железные дороги были главными путями сообщения между Петроградом и театром военных действий. Во время мобилизации он работал неустанно, и служба на этой важнейшей линии, по общим отзывам высших военных начальников, была безукоризненна.

Не менее тяжелая работа выпала на долю его жены О. А. Валуевой, которая с самого начала войны стояла во главе всех железнодорожных лазаретов и отдавала им буквально все свое время. Большую заботу составляло для нее снабжение наших солдат теплой одеждой и подарками.

В первые дни революции новые „господа", прежде кричавшие о чрезмерных расходах и роскоши императорского двора, считали необходимым раз'езжать не иначе, как в царских поездах. Они потребовали от Валуева дать им такой поезд, но он, как верный слуга царя, отказал им и решил сам поехать на фронт для встречи с царем. Время, как известно, было тогда неспокойное, и потому к вагону сопровождали его лазаретный священник, жена и дочь. На пути к вокзалу их встретила толпа подозрительных суб'ектов, которых священник упросил не трогать Валуева. По мнению революционеров, насилие было преступлением, когда оно исходило от чиновников старого режима, но для своих личных целей они считали насилие дозволенным, даже в том случае, если оно проявлялось в форме убийства. Когда Валуев был уже почти около самого вагона, на него напали два неизвестных человека и убили его наповал несколькими выстрелами из револьвера.

Ночью мы прибыли в Белосток, где находилась квартира главного начальника снабжений, и рано утром следующего дня я уже был у генерала

Данилова, который предложил немедленно явиться к главнокомандующему северо-западным фронтом, генералу Жилинскому, так как приказ о моем назначении генерал-губернатором Восточной Пруссии будет немедленно опубликован, и я без замедления должен уехать на место своей новой службы. Я был очень удивлен, когда знакомый мне генерал Жилинский принял меня очень холодно и сказал, что он о моем назначении ничего не знает, но что он не замедлит справиться об этом в ставке верховного главнокомандующего. Как впоследствии оказалось, холодность его об'яснялась тем, что генерал Жилинский, как варшавский генерал-губернатор, надеялся получить эту же должность и в занятой нами части Пруссии.

Ответ получился в тот же день, и он гласил: „Генерал Курлов назначается генерал-губернатором Восточной Пруссии, чтобы навести там строгий порядок". Воле великого князя, с которым не осмеливались спорить его подчиненные, нужно было подчиниться. Генерал Н. А. Данилов предложил мне представить немедленно план управления Восточной Пруссией и, не теряя минуты, отправиться на место службы.

Я не думал заняться исключительно гражданским управлением; я считал, напротив, своей главной обязанностью заботиться о прикрытии тыла армий и о возможной поддержке их. Я предполагал создать здесь, если это окажется возможным, прежние органы управления. Я попросил поэтому предоставить в мое распоряжение бригаду пограничной стражи, так как офицеры и нижние чины ее владеют немецким языком и хорошо знают пограничные области. Предложение мое было принято главным начальником, но на следующий день, при встрече с генералом Даниловом, он сообщил мне,

что главнокомандующий второй армией, генерал Самсонов, с целью обхода неприятеля, начал наступление и вследствие этого потерял телеграфную связь с прочими армиями. Вечером у главнокомандующего был военный совет, на котором то решали послать генерала Ренненкампфа на помощь генералу Самсонову, то нет.

Таким образом, приказа о наступлении не было дано в окончательной форме. Между тем получено было сообщение, что армия генерала Самсонова уничтожена, и потом оказалось, что операция, имевшая целью подать ему помощь со стороны генерала Ренненкампфа, была приостановлена распоряжением верховного главнокомандующего.

Само собою разумеется, что о поездке в Восточную Пруссию нечего было больше думать. Вскоре после этого генерал Жилинский был удален с поста главнокомандующего фронтом, а несколько дней спустя я встретил на вокзале сувалкского губернатора, так как Сувалки были нами эвакуированы, и командующего 6-го армейского корпуса, Благовещенского, который под давлением немцев отошел. Тут же я встретил и генерала Артамонова, бывшего командира 1-й армейского корпуса.

Не имея в виду останавливаться здесь на частностях этой войны, я приведу здесь только еще один пример беспорядков, царивших в гражданском управлении. На том же вокзале ко мне подошел знакомый чиновник министерства внутренних дел, К. В. Гюнтер, и сообщил, что министр внутренних дел командировал его специально в Белосток, чтобы назначить его генерал-губернатором Восточной Пруссии. Таким образом, назначения на высшие посты делал, помимо верховного главнокомандующего, также и министр внутренних дел. Так окончилось мое генерал-губернаторство, и я остался без на-

значения в распоряжении заведывающего снабжением. Я не считаю временной командировки в Варшаву, Седлец и Комарово, где находился штаб 2-й армии генерала Шейдемана, с целью ускорить постройку военных пекарен.

Как раз в это время освободился пост командующего двинским военным округом, и генерал Данилов предложил мне похлопотать о моем назначении на этот пост перед верховным главнокомандующим, которого ждали в этот день в Белостоке. Но его старания успехом не увенчались: великий князь выразил ему свое сожаление, что не знал об этом раньше, так как по просьбе военного министра назначил на этот пост члена военного совета, инженер-генерала князя Н. К. Туманова. Он высказал мысль, что гражданская часть такого большого округа должна быть сконцентрирована в руках одного опытного лица и обещал по возвращении в ставку создать должность помощника командующего округом и назначить меня на эту должность. Приказ об этом скоро появился и через несколько дней я уехал в Вильну, где в то время находился штаб этого округа.

Непродолжительная совместная служба моя с князем Тумановым оставила во мне лучшее воспоминание. При моем представлении он сообщил мне, что я буду ему помогать в управлении, и передал в полное мое распоряжение военную цензуру и контр-разведку. К этому времени немцы проникли в привислянские губернии и заняли местечко Пясечно. Начальник округа командировал меня немедленно в Варшаву, где я узнал, что стянутые сибирские корпуса отбили аттаки немцев, причем число убитых на обеих сторонах было так велико, что для их уборки и погребения пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Вместе с помощником

варшавского генерал-губернатора, генералом Утгофом, я посетил места боев и никогда не забуду ужасного впечатления, произведенного на меня громадным пространством, сплошь покрытым трупами.

Ко времени отступления немцев от Варшавы наше высшее командование рассчитывало, что два их корпуса будут отрезаны от прочих армий и попадут „в мешок". Поэтому оно потребовало от князя Туманова экстренного снаряжения специальных поездов для перевозки пленных и особого салон-вагона для принца Иоахима прусского, находившегося вместе с обоими корпусами в нескольких верстах от Варшавы. Но эта стратегическая операция окончилась полной неудачей, и немцы благополучно ушли из „мешка", что повлекло за собою отставление от командования армиями генералов Шейдемана и Ренненкампфа.

В ноябре 1914 года князь Туманов пригласил меня к себе и спросил, что, по моему, означает только что полученная им от начальника штаба 6-й армии, князя Енгалычева, телеграмма, в которой князь просил откомандировать меня в Петроград для разрешения вопроса об образовании прибалтийского генерал-губернаторства. Я ответил, что ничего не могу об'яснить, так как телеграмма эта является для меня такою же неожиданностью, как и для него. В Петрограде командующий 6-й армией, генерал Фан-дер-Флит, и его начальник штаба сообщили мне, что верховный главнокомандующий считает совершенно неудовлетворительной постановку гражданского управления в прибалтийских губерниях. Дело в том, что Эстляндская и Лифляндская губернии, кроме города Риги и Рижского уезда, принадлежали к составу петроградского военного округа, но во главе их гражданского управления стоял комендант ревельской крепости, адмирал Ге-

расимов. Город Рига с уездом и Курляндская губерния были отнесены к составу двинского округа, так что в административном отношении они находились в ведении начальника этого округа. Такая двойственность начальства в трех совершенно однородных губерниях вызвала, помимо различия в мнениях местных начальников, множество неудобств. В виду этого великий князь пожелал передать в одни руки гражданское управление всем этим районом, кроме Ревеля, как морской крепости, но в военном отношении район должен был остаться попрежнему в ведении военных округов. Приэтом великий князь считал нецелесообразным, в виду возможности трений с министерством внутренних дел, возобновление прежнего поста гражданского генерал-губернатора, но решил назначить меня, как помощника главного начальника двинского военного округа, особым полномочным лицом по управлению Прибалтийским краем со всеми правами генерал-губернатора, не считая прав командующего армией в административных и хозяйственных вопросах. Соответствующая инструкция была уже разработана и подписана генералом Фан-дер-Флитом в отношении границ его округа, вторая, такого же содержания, была подписана князем Тумановым. Я сообщил по телеграфу своему начальнику о результате наших переговоров и уехал в Ригу, чтобы исполнить некоторые поручения, данные мне до моего отъезда из Вильны.

Первое, что мне бросилось в глаза в Риге, были вывески на немецком языке и раздававшаяся повсюду немецкая речь. Известная часть печати еще задолго до моего приезда начала кампанию против этого, особенно „Новое Время“ в ряде статей, подписанных Ренниковым, которые впоследствии вышли отдельной книгой под названием „В стране

чудес". Особенно подверглись нападкам управления лифляндского и курляндского губернаторов Н. А. Звегинцева и С. Д. Набокова. Я начал с того, что приказал убрать немецкие вывески и запретил употребление немецкого языка. В Риге я встретил члена совета министра внутренних дел, Н. П. Харламова, который был командирован сюда для расследования обвинения против упомянутых двух губернаторов.

Когда я был товарищем министра внутренних дел, Харламов состоял вице-директором департамента полиции. Он ознакомил меня со всем собранным им материалом. Обвинения против курляндского губернатора Набокова не подтвердились; за то в управлении Звегинцева были документально установлены неправильности при высылке немецких подданных, которые Харламов называл служебными подлогами. Эти обвинения подтвердились, когда я лично ознакомился с ними. Звегинцева я знал давно и был с ним в хороших отношениях; тем не менее я счел себя принужденным посоветовать ему подать в отставку, чтобы предупредить его отрешение от должности военною властью. Совет этот он исполнил на другой день после моего от'езда.

Во время этого трехдневного пребывания в Риге я убедился в том, что настроение в городе было очень напряженное: старая вражда между местным немецко-балтийским и латышским населением приняла крайне острые формы. Латышами было возбуждено множество обвинений против их врагов не только в чрезмерной любви к немцам Германии, но и в шпионстве, и даже в государственной измене. Во всех этих обвинениях было много преувеличений, которые создавали мне во время моей последующей службы в Риге большие неприятности.

С самого начала мне пришлось произвести, по указанию члена Думы, князя Мансырева, два расследования, в которых его жалобы оказались сильно преувеличенными. Известная доля вины падала на немецкое население, которое не считалось с создавшимся положением и позволяло себе ряд бестактных поступков, подавших повод к массовым обвинениям. Так, оно не считалось с тем, что во время войны с Германией ему невозможно поддерживать с Германией прежние отношения, само собой понятные при общем языке, национальности и религии. Мне сообщили, например, что при первом появлении в Риге военнопленных немцев, последние были встречены населением с цветами. Не желая повторения подобных случаев, которые естественно могли вызвать репрессии со стороны военных властей, я по телеграфу просил начальника округа не посылать впредь в Ригу германских военнопленных.

Сделав небольшой личный доклад князю Туманову, я поехел в Варшаву, где в то время находился главный начальник снабжений, генерал Данилов, чтобы сообща с ним, как с лицом, стоявшим во главе общего гражданского управления, обсудить различные вопросы, связанные с моей будущей деятельностью. Во время этого совещания были выработаны штаты моей канцелярии, и генерал Данилов ознакомил меня с основными линиями поведения, которого придерживались ставка и он сам в вопросе о прибалтийских губерниях. В то время, как инструкция и штаты были направлены на утверждение, я вернулся в Вильно, чтобы сдать дела по гражданскому управлению и проститься с командующим военным округом. Последний был уже уведомлен по телеграфу о моем назначении, и я тотчас же уехал в Ригу, взяв с собою все прежние приказы и обязательные постановления, касавшиеся

города Риги и Курляндской губернии, которые следовало выработать в согласии с приказами адмирала Герасимова.

В Риге меня встретил вновь назначенный молодой вице-губернатор Подолинский, который управлял губернией после от'езда Звегинцева во время отсутствия нового губернатора А. И. Келеповского. Местным гарнизоном командовал генерал Пфлуг, который был занят новым формированием попавшего при Сольдау в плен 13-го армейского корпуса. Он недолго пробыл в Риге и после его от'езда обязанности его перешли ко мне. Я нашел в Риге все посланные мне генералом Герасимовым документы, касающиеся гражданского управления Эстляндией и Лифляндией и, между ними, все его обязательные постановления, а равно и множество доносов на немецко-балтийское население, в которых оно обвинялось во всевозможных действиях, направленных ко вреду нашей армии и на пользу немецкой. Все эти доносы я разослал начальникам местных жандармских управлений с приказом расследовать их и о результатах сообщить мне.

Среди этих доносов возбудили к себе внимание письменные сообщения о воздвигнутых башнях на домах некоторых землевладельцев и о разного рода вышках, выстроенных в лесах для сигнализации неприятелям, хотя вблизи не было ни немецкой армии, ни немецкого флота. Я хотел раз навсегда покончить с подобными доносами и потому предложил местному губернатору образовать при участии техников особые комиссии, обследовать все имения, но только те, которые указаны в доносах, и сообщить мне, как можно совершенно уничтожить все подобные сооружения. Штаты моей канцелярии еще не были утверждены, и я в Риге был с одним только

ординарцем-офицером. При таких условиях справиться со всеми обстоятельствами было делом невозможным, и я потому решил отправиться в Ревель, чтобы переговорить с адмиралом Герасимовым об общих вопросах и кстати познакомиться с деятельностью эстляндского губернатора.

Адмирал Герасимов высказал мне свое удовлетворение тем, что причиняющая ему много хлопот гражданская часть, с которой практически он не был знаком, теперь от него отпадает, и жаловался мне на колоссальное количество поступающих к нему доносов. Положение вещей в Эстляндской губернии не представляло никаких особенных трудностей, и губернатор генерал-майор И. В. Коростовец, по моему, с самого начала войны поставил себя во вполне корректное отношение, так как судил обо всех явлениях на данном поприще лишь с точки зрения их действительной важности и не придавал преувеличенного значения местным особенностям, которые происходили от вражды, царящей между различными частями населения. Вообще Эстляндская губерния причиняла мне в течение всего времени, пока я управлял Прибалтийским краем, меньше всего неприятностей; имевшие место в первое время неправильные поставки лошадей для армии местными землевладельцами были ликвидированы при моем прибытии судебным порядком.

Возвратившись в Ригу, я занялся раньше всего многочисленными и разнообразными обязательными постановлениями с целью согласовать их, устранить в них некоторые неправильные юридические определения и смягчить некоторые отдельные приказы адмирала Герасимова. Типичным примером их могло служить обязательное постановление о воспрещении немецкого языка. Я знал, конечно, что многие

из местного немецко-балтийского населения плохо или даже вовсе не владеют русским языком и потому я изменил упомянутое постановление в том смысле, что воспретил только демонстративные публичные разговоры на немецком языке.

К сожалению, замеченное мною недостаточно сознательное отношение местного балтийско-немецкого населения к создавшемуся в связи с войной положению сказалось и здесь: всюду разговаривали по-немецки, что ставило моих подчиненных в крайне трудное положение, так как виновные в нарушении этого обязательного постановления всегда приводили доказательства того, что инкриминируемый им разговор на немецком языке не был демонстративным. Я должен был поэтому восстановить прежнюю редакцию обязательного постановления и разбираться в каждом отдельном случае относительно умышленности и демонстративности разговора на немецком языке.

Будучи по своей прежней службе в министерстве внутренних дел очень хорошо знаком с событиями имевшими место в прибалтийских губерниях в течение 1904 и 1905 годов, я отлично понимал, что всякое ограничение и стеснение немецкого населения будет учитываться эстонцами и особенно латышами, как победа их над враждебными им немцами-землевладельцами. Я обратился, кроме того, к последним с просьбою придти мне на помощь и всячески воздерживаться от тех или иных антирусских демонстраций, так как я принужден категорическими приказами высших властей неукоснительно приводить в исполнение упомянутые ограничения. Но и эти мои старания успехом не увенчались.

Делопроизводство дворянских управлений до самой войны велось на немецком языке и нужно было во что бы то ни стало заменить его русским

языком. Лифляндский предводитель дворянства, барон Пиллар-фон-Пильхау, которого я попросил сделать этот переход по собственной инициативе, ответил мне согласием, но в конце письма добавил, что немецкий язык упразднен на основании моего распоряжения, что, конечно, было совсем не то, чего я добивался. В печати продолжалась прежняя агитация. В ставке уделяли большое внимание газетным статьям, и я получал запросы почти по поводу каждой из них. Я сам проверил расследование многих доносов и должен сказать, что из сотни их едва ли один действительно давал основание для подозрений.

Я припоминаю живо два очень характерных случая. Однажды утром в обычный приемный час ко мне явился пожилой лейтенант флота с заявлением, что он должен вместе с матросами сделать расследование, так как в одном из имений под Ригой имеется башня для сигнализации. Я сказал этому офицеру, что имение это было уже обследовано и что там вместо башни для сигнализаций находилась небольшая обсерватория с кое-какими инструментами для астрономических наблюдений. Мое об'яснение не удовлетворило, повидимому, лейтенанта и он, основываясь на приказе командующего флотом, категорически потребовал содействия для производства означенного расследования. Я приказал дать ему полицейского чиновника, и лейтенант произвел тщательный обыск в этом имении. Вечером он явился ко мне и смущенно заявил, что я был совершенно прав: в имении никакой сигнализационной башни не оказалось, а инструменты не имеют ничего общего с сигнализационными аппаратами.

Второй случай был еще типичнее. Ко мне явился старый латыш с просьбой немедленно принять его,

так как у него есть важное письмо ко мне от начальника генерального штаба. Старик рассказал мне, что он сам был свидетелем спуска немецкого аэроплана в одном курляндском имении. Немецкие офицеры этого аэроплана были очень тепло встречены местным землевладельцем и его женой. Офицеры будто бы были приглашены на пикник, затем, взяв с собой живую корову (!), улетели. Когда доносчик назвал свое имя, то оказалось, что донос этот был уже раньше заявлен и по нем было уже сделано расследование. Несколько дней спустя, я по поводу этой истории получил запрос из ставки, причем оказалось, что недовольный моими распоряжениями латыш обратился прямо в ставку со своим доносом.

С каким доверием военное начальство относилось обыкновенно ко всякого рода заявлениям об измене и шпионстве, показывает следующий случай: во время первого немецкого наступления в апреле 1915 года, когда немцы находились всего в нескольких верстах от Митавы, всякая работа на фабриках была, конечно, приостановлена. Один наш батальон, помещавшийся в какой-то фабрике, вздумал пустить в ход водопровод и электрическое освещение. Затопили печь, и из фабричной трубы показался дым. Батальон ушел, а местные жители донесли начальнику ближайшей военной части, что печь была затоплена с целью дать возможность немецкой артиллерии ориентироваться при обстреле города. Результатом этого было то, что в тюрьму попали не только управляющий, но и владелец этой фабрики.

Это наступление оставило мне 92 дела о шпионаже и между ними также и это, которое я только что рассказал. Мне пришлось самому поехать в Митаву, расследовать все эти доносы и освободить всех арестованных.

К доносам по временам присоединялись и провокации. В той же самой Курляндской губернии был пойман, по словам начальника губернского жандармского управления, один старый немецкий учитель в момент разбрасывания им немецких прокламаций. Дело подлежало ведению военного суда, и виновному угрожала смертная казнь. Я довел об этом до сведения главнокомандующего и получил приказ передать это дело в военный суд. Результат расследования этого дела поступил ко мне в канцелярию. Прикомандированный ко мне генерал, мой заместитель, сообщил мне, что у него закрались сомнения при чтении этого дела. Я лично просмотрел его и оказалось, что прокламации разбрасывал по улице, как раз в тот момент, когда по ней случайно проходил этот учитель, какой-то мальчишка разносчик газет, местный латыш, который потом и сознался в этом полиции.

Наступление немцев, о котором только что я упомянул, причинило мне очень много тревог и неприятностей. Командующий двинским военным округом получил приказ сформировать небольшой отряд и занять им Мемель, который, по имевшимся сведениям, был совершенно беззащитен. Это было исполнено, и наш отряд держался в Мемеле несколько часов. Следствием этого явилось наступление немцев на Курляндскую губернию, где в то время находились, кроме отряда генерала Апухтина численностью около 2.000 чел., еще несколько запасных батальонов в разных частях губернии. Когда я узнал о движении немцев, то приказал курляндскому губернатору поставить вдоль границ полицейскую стражу и известить меня немедленно, как только неприятель вступит в пределы губернии. Через несколько дней он сообщил мне, что немцы перешли границу и двигаются на Митаву, но на следующий

день добавил, что генерал Апухтин дал приказ очистить Митаву и что к этому уже приступлено. К вечеру я получил извещение, что эвакуация благополучно закончена. Сам губернатор и штаб генерала Апухтина остались в Митаве.

Вскоре после этого С. Д. Набоков сообщил мне, что генерал Апухтин идет на Олай, а немцы приближаются к Митаве, и он поэтому уезжает в Ригу. Генерал Апухтин позвонил мне по телефону и сказал, что его хотят, очевидно, обойти, но что дорога на Ригу еще свободна. На мой вопрос, не пора ли мне приступить к эвакуации, он ответил, что считает ее своевременной. В тот же день я получил от генерала Данилова, в ответ на мое сообщение, что немцы перешли курляндскую границу, телеграмму с приказанием спокойно продолжать работу. Об эвакуации города нечего было и думать, принимая во внимание сообщение начальника Риго-Орловской железной дороги, что весь парк вагонов послан навстречу идущим подкреплениям и что вагоны эти могут вернуться не ранее, как в 5 часов следующего дня. Очистить Ригу в течение нескольких часов было совершенно немыслимо, и всякая попытка в этом направлении повела бы к неизбежной панике, которая с минуты на минуту могла бы усилиться, тем более, что население и без того уже было взволновано видом безостановочно двигающихся подвод и возов генерала Апухтина и массой бегущего населения из Курляндии.

В качестве начальника гарнизона я распоряжался 70 запасными и конвойной командой. В моем распоряжении не было ни одного орудия и никаких взрывчатых веществ. Поэтому я послал прикомандированного ко мне ротмистра Канабеева к коменданту крепости Усть-Двинск с просьбой прислать мне два орудия для защиты железнодорожного

моста или по крайней мере несколько динамитных патронов для того, чтобы в случае крайней необходимости взорвать его. На запасных нельзя было рассчитывать: они шлялись по городу и сошлись с дезертирами из отряда генерала Апухтина, которые потом в количестве 2000 человек были арестованы в Риге.

Я решил воспользоваться конвойной командой и приказал начальнику ее выделить из своей среды сторожевое охранение. Начальник ответил, что у него нет ни одного орудия и ни одного подрывного патрона. Мы провели ужасную ночь, так как только вечером удалось вывезти государственный банк и достать грузовики для меня и моей канцелярии. Я не мог рассчитывать на своевременное прибытие подкреплений, так как приехавший в Ригу губернатор Набоков сообщил мне, что невдалеке от Митавы и по дороге в Олай замечены уже немецкие кавалерийские патрули. Я очень хорошо знал, что для занятия Риги, где находилось еще много неэвакуированных банков, достаточно двух эскадронов и что нападение на ее повлекло бы за собой неисчислимый вред, как как взрыв железнодорожного моста надолго задержал бы подвоз подкреплений в Митаву.

На следующее утро прибыли первые эшелоны генерала Гербатовского и отправились сейчас же по направлению к Митаве, так так немцы остановились перед городом и после приближения новых русских войск, отошли за курляндскую границу. Вскоре после этого в Митаву вошел штаб 5-й армии, и я сложил с себя обязанности начальника гарнизона. Насколько трагично было в то время положение Риги, указывает просьба коменданта крепости Усть-Двинск, генерала Миончинского, передать защиту переходов через реку Аа полицейской команде, что и

было исполнено вице-губернатором Подолинским. В общем курляндская полиция проявила выдающуюся храбрость и очень помогала нашим войскам, пользовавшимся ее прекрасным знанием местности при разведочной службе. Было даже несколько удачных столкновений ее с немецкими патрулями, за что ей было роздано несколько георгиевских крестов.

Недостаток топлива создал мне много затруднений. Представители многих крупных фабрик довели до моего сведения, что при наступлении кризиса они принуждены будут закрыть свои фабрики и распустить рабочих. Я решил образовать под моим председательством особый комитет для правильного снабжения и, что особенно важно, для правильного распределения топливного материала, и мне удалось с помощью министерства путей сообщения избежать приостановки работ на рижских фабриках хотя бы на один день. Приэтом нужно заметить, что в Риге находилось несколько единственных в своем роде фабрик, как, например: фабрика машинных масл Ельриха, которая снабжала весь флот, и оптическая фабрика Герца, обслуживавшая артиллерийское ведомство.

В прибалтийском крае мне пришлось иметь дело с распоряжениями военных властей о высылке жителей и об эвакуации промышленных учреждений. Первое обусловливалось продвижением неприятеля и необходимостью уничтожения всех запасов. Оно применялось к тем лицам, которые были уличены в неприязненных действиях по отношению к нашим войскам. Таково было, например, выселение евреев из Курляндии. Я получил приказ верховного главнокомандующего выселить из этой губернии всех евреев, невзирая на пол, возраст и занимаемое положение. С этой целью я поехал в Митаву и там предложил этот вопрос на рассмо-

трение комиссии, в которой участвовали представители местного общества. Курляндская губерния принадлежала к черте еврейской оседлости.

Снабжение лазаретов и военных учреждений, равно как и торговля, находились всецело в руках евреев. В местных лазаретах работало значительное количество еврейских врачей. Поголовное выселение всех евреев повлекло бы за собой полную приостановку жизни и потому все члены комиссии единогласно высказались против выселения. Я сообщил об этом в ставку и указал на-то, что массовая высылка невозможна уже вследствие недостатка вагонов. Я просил выселять евреев, если уж это нужно, не сразу, а постепенно и оставить тех из них, присутствие которых я считал необходимым для дела. В ответ я получил приказание безусловно исполнить приказ под страхом самой серьезной ответственности.

Вследствие этого я приказал начать постепенное выселение евреев, но не очень спешить с ним и, в то же время запросил ставку разрешить мне приехать для личного доклада. Два или три дня спустя, в Ригу приехал генерал Данилов, которому я сделал подробный доклад на этот счет. Он высказал полное согласие с моими взглядами и обещал немедленно переговорить об этом с главнокомандующим фронтом. И действительно, я получил извещение, что генерал Алексеев разделяет мои соображения, но во исполнение приказа верховного главнокомандующего велит взять заложников из части еврейского населения, материально лучше обеспеченной и занимающей лучшее социальное положение, и посадить их в тюрьму. Эта незаконная и жестокая мера снова взволновала меня, и я, воспользовавшись данным мне разрешением посетить ставку, отправился туда.

В ставке я повидался прежде всего с генералом Янушкевичем и попросил его снова доложить все это дело великому князю и особенно обратить его внимание на неисполнимость последней меры. От него я узнал, что поводом к поголовному выселению евреев послужило истребление немцами небольшой нашей воинской части вблизи Шавель: немцы внезапно напали на нее и это было приписано еврейскому шпионажу. Я понимаю всякую, даже самую суровую меру, которую применяют на месте и по заслугам, но решительно не понимаю, почему за это дело должно невинно страдать все еврейское население целой губернии. Янушкевич сказал мне, что великий князь очень недоволен моими повторными телеграммами и в виду этого посоветовал мне лично поговорить с ним.

Я не заметил ничего особенного в обращении со мной верховного главнокомандующего. Он, как и всегда, был со мной очень любезен, пригласил меня к завтраку, сказав, что желает после завтрака выслушать мой доклад. Однако, когда мы начали говорить с ним о деле, он круто изменил тон и в резких выражениях дал мне понять, какое впечатление произвело на него то, что я вместо точного исполнения полученного приказа, позволил себе несколько раз вступить с ним в пререкания. Я нисколько не сомневался в его справедливости и потому спокойно повторил все свои доводы, после чего великий князь отменил свое распоряжение.

Тем не менее многие евреи Курляндии были все же выселены и это имело для них, конечно, очень тяжелые последствия, хотя бедственное положение этих невольных беженцев, скопившихся массами на вокзалах, умерялось сердечным отношением к ним богатых и почтенных еврейских дам

Риги. Необходимо заметить, что по упомянутому распоряжению евреи должны были быть высланы в губернии еврейской черты, исключая тех губерний, где происходили военные действия. Но к числу этих губерний принадлежали как раз все губернии черты оседлости. Таким образом, выходило, что евреев этих некуда было послать, и это вызвало оживленную переписку с Петроградом.

Вообще следует сказать, что общее обвинение евреев в шпионстве не имело под собой никаких серьезных оснований. Точно также и по данным контрразведки двинского военного округа не видно было этого, равно нельзя было установить здесь засилья евреев над нееврейским населением.

Поголовное выселение всех жителей, имевшее место при втором наступлении немцев на Курляндию, когда они заняли Либаву, имело тяжелые последствия не только для выселяемых, но и для прочих частей России, куда были направлены беженцы. Местности их поселения оказались переполненными вновь прибывшими элементами, цены на необходимейшие предметы страшно возросли, и это повлекло за собой недостаток и вздорожание в других областях государства. Эти два фактора оказали огромнейшее влияние на экономическую разруху страны перед революцией.

Эти меры высшего командования были удачно охарактеризованы одним выдающимся полководцем, который выразился, что немыслимо в 1914 году вести войну по приемам 1812 года.

Нужно было видеть картину этих новых великих переселений народов: все шоссе, начиная от русской границы до Шавель и Риги, а потом и далее, были сплошь покрыты беженцами, которые старались продвинуться вперед со своими семьями и имуществом. Учреждение настоятельно необхо-

димых питательных пунктов потребовало огромных трудов и колоссальных расходов. Скопление таких больших народных масс на путях передвижения мешало движению войск, и военное начальство должно было изыскивать для этого и приводить в безопасное состояние параллельные пути.

Пламя национальной вражды в Прибалтийском крае все более и более разгоралось, и требовались огромные усилия, чтобы успокоить народное волнение. Вследствие агитации печати я должен был из'ять из обращения упомянутую мною ранее книгу Ренникова, переведенную на латышский и эстонский языки. Некорректное поведение некоторых представителей местного дворянства повело к тому, что я счел необходимым применить некоторые высылки. Основой моей деятельности являлось строгое исполнение закона и недопущение произвола. Я сократил, насколько было возможно, вышеупомянутую меру и навлек этим на себя неудовольствие моего начальства. Немецко-балтийское население убедилось в этом, когда я ушел с поста начальника края и когда начались высылки на основании заявлений мелких чиновников полиции, высылки, которые производили постоянно менявшиеся военные начальники.

Такое настроение поддерживали в населении и некоторые члены Думы, особенно князь Мансырев, прошедший, к слову сказать, в Думу с помощью голосов этого балто-немецкого населения, и латыш Гольдман, бывший волостной старшина в Курляндии. Последний отнимал у меня массу времени своими постоянными жалобами на курляндского губернатора Набокова и своими неисполнимыми требованиями. Хотя я всеми силами старался исполнять всякое законное желание его, Гольдман все же угрожал мне в присутствии моих подчиненных со-

считаться со мной при открытии Думы. Гольдман был одним из наиболее энергичных сторонников формирования особых латышских полков и развил в этом отношении живейшую агитацию как в Петрограде, так и в ставке.

Он сообщил мне однажды, что он всюду наталкивался на сочувствие к этому вопросу, и спросил меня, как я отношусь к нему; я ответил, что это не относится к кругу моей деятельности, но что я, в случае, если мне будет приказано, употреблю все меры, чтобы исполнить приказание. Главнокомандующий северо-западным фронтом генерал Алексеев также запросил моего мнения на этот счет, и я ответил ему, что считаю такое формирование с государственной точки зрения нежелательным и даже весьма опасным. По окончании войны, независимо от ее исхода, наличие таких национальных войск в стране, где разные части населения относятся друг к другу неприязненно, может иметь весьма серьезные последствия.

Немало вреда делу успокоения страны принес, как это ни странно, брат председателя Думы полковник Родзянко, командовавший запасным батальоном на острове Эзеле и потом в Пернове. Этот вполне потерявший равновесие человек вообразил себя генерал-губернатором, произносил зажигательные речи, причем позволял себе даже злоупотреблять именем государя императора, и издал целый ряд распоряжений, касающихся гражданского управления, так что я принужден был запросить главнокомандующего 6-й армии, какими административными полномочиями снабжен этот полковник. Ответ гласил, что его полномочия касаются только батальона, которым он командует. Это об'яснение дало мне возможность немного охладить пыл деятельности полковника Родзянко, чем я

конечно, навлек на себя гнев и немилость его и брата его, председателя Государственной Думы, выступившего, конечно, на открытую защиту своего родного брата.

Когда батальон полковника Родзянко помешал ничтожной попытке немецкого аэроплана спуститься возле Пернова, он известил своего брата об этом „подвиге", как о блестящей победе русского оружия в Прибалтийском крае. Однако, правда не замедлила скоро выплыть наружу, и история эта вызвала в генеральном штабе большое неудовольствие, а для председателя Думы явилась довольно неприятным сюрпризом.

Таким же бестактным поступком ознаменовал свою деятельность знаменитый победитель под Митавой, генерал Потапов, когда немецкие войска остановились перед ней и не заняли ее. Он держал речь о могуществе латышского народа и о его блестящей роли в войне с Германией. Латыши преподнесли ему за это почетную саблю.

Перед войной он выходил в отставку по болезни — душевному расстройству, — но сейчас же после революции стал одним из наиболее видных деятелей ее.

ГЛАВА XIX

Если выселение жителей из угрожаемых неприятелем местностей оказывало такое вредное влияние на экономическую жизнь в России вообще, то эвакуация фабрик и заводов, в которых военнопромышленные комитеты развили большую, но ни в каком случае не плодотворную деятельность, причинила несравненно больший вред. Когда генерал Сухомлинов ушел, и его на посту военного министра

заменил генерал Поливанов, последний нарушил основной принцип нашего законодательства, связав деятельность Особого Совещания по обороне, в котором он председательствовал, с военными вопросами и распоряжениями высшего командования на театре военных действий.

Пример этого я испытал на самом себе. Главнокомандующий северо-западным фронтом, генерал Алексеев, запретил вывоз кож из Курляндской губернии, из Риги и рижского округа. Но товарищ военного министра, генерал Лукомский, телеграфно предписал мне, на основании постановления Особого Совещания, разрешить вывоз кож. Я ответил, что не могу решиться нарушить приказание главнокомандующего, и этим дело окончилось: больше я никаких предписаний на этот счет не получал.

Идея эвакуации, повидимому, исходила из того же источника: я сужу об этом по доставленным мне приказам 6-го армейского корпуса подготовить отправку инвентаря фабрик и заводов Эстляндской и Лифляндской губерний. Ожидая, что каждый день я могу получить такой же приказ от главного начальника снабжений северо-западного фронта, я приказал составить список фабрик и заводов города Риги, ее уезда и Курляндской губернии, с целью выяснить приблизительные размеры имущества, которое должно быть эвакуировано, а также потребное для этого число вагонов. Количество последних оказывалось, по подсчету, столь велико, что для проведения эвакуации требовалось не менее полугода. В виду этого, я решил эвакуировать в случае необходимости только те фабрики, которые работали на оборону страны. Подробности я обсудил в особой комиссии, в которой приняли участие и представители промышленных предприятий, и уехал в Седлец, где находились генералы Алексеев и Да-

нилов, для личного доклада им об этом. Главный начальник снабжений одобрил мое предположение, и с его мнением вполне согласился также главнокомандующий северо-западным фронтом.

Вскоре после этого меня пригласил к себе генерал Данилов и сообщил, что генерал Алексеев только что получил телеграмму из ставки с назначением меня и помощника главного начальника снабжений, генерала Филатьева, в Петроград для участия в особой комиссии под председательством начальника генерального штаба Беляева, имеющей начать функционировать через несколько дней по вопросу об эвакуации фабрик из Риги. В этой комиссии заседали представители всех министерств и, по открытии ее заседаний, генерал Беляев предложил мне ознакомить собрание с положением Риги вообще и с тем, желательна ли и возможна ли эвакуация ее фабрично-заводских предприятий.

Я изложил перед присутствующими соображения, высказанные мною в Седлеце, и, принимая во внимание большое промышленное значение Риги для всего государства, сказал, что, по моему мнению, ее нужно защищать до последней возможности и, в крайнем случае, уничтожить все ценное. Я добавил, что мое мнение о чрезвычайной трудности эвакуации рижских фабрик и заводов вполне разделяется главнокомандующим северо-западным фронтом и главным начальником снабжений.

Генерал Беляев очень энергично настаивал на немедленной эвакуации Риги, обнаружив при этом полнейшее незнакомство с фабричным делом. Так, он уверял, что Русско-Балтийский вагоностроительный завод может быть снова пущен в ход на новом месте через месяц, между тем, как в действительности для этого мало было бы и одного года. В виду согласия комиссии с мнением генерала Беляева,

я просил назначить мне в помощь эвакуационную комиссию, а также специалиста по техническим вопросам, так как я сам и моя небольшая канцелярия были буквально перегружены работою. Генерал Беляев сказал мне, что протокол комиссии, с постановлением приступить немедленно к эвакуации, будет мне прислан и просил меня притти к нему на следующий день.

Во время нашей беседы на другой день вопрос шел о количестве вагонов, которые потребуются для эвакуации Риги, и присутствовавший здесь же представитель министерства путей сообщения заявил, что мы получим все необходимое. В заключение генерал Беляев распорядился, чтобы со мною в Ригу поехали чиновники подлежащих ведомств военного министерства.

В этот же день я отправился к военному министру и не узнал генерала Поливанова, когда вошел в его кабинет: вместо бодрого, энергичного человека, какого я привык видеть всегда на заседаниях совета министров во время Столыпина, я встретил сгорбившегося старика с тусклыми глазами и усталым голосом. Я счел своею обязанностью повторить ему те же соображения о невозможности эвакуации Риги, которые я изложил в комиссии, и услышал в ответ, что раз комиссия постановила эвакуировать Ригу—необходимо подчиниться. Когда же я указал ему, что для этого нужно иметь приказ верховного главнокомандующего, Поливанов ответил, что я получу его.

Действительно, вместе со мной в Ригу прибыли обещанные представители военного министерства, а также инженер Шуберский, как представитель верховного главнокомандующего в делах путей сообщения. Заседание состоялось в тот же день, и Шуберский заявил на нем, что ставка обещает еже-

дневно давать по 100 вагонов. В дальнейшем выяснилось, что прочие чиновники, приехавшие сюда для того, чтобы установить, какие именно машины подлежат прежде всего эвакуации, были не членами эвакуационной комиссии, а временно откомандированные сюда для помощи мне.

В течение дня прибыли член военно-промышленного комитета, князь Бебутов, и целый ряд фабрико- и заводовладельцев из центральных губерний, которые требовали у меня разных машин, так как они работали на оборону. Очень характерными были в вечернем заседании споры всех этих господ, которые закончились настоящими столкновениями, так что получилось неприятное впечатление, будто Ригу как бы грабят. Был разработан подробный план, каким образом использовать обещанные сто вагонов в день для вывоза материалов и вещей, подлежащих эвакуации.

Я решил в первую голову эвакуировать фабрики и заводы, работавшие на оборону, и мне в первые же дни удалось подготовить к вывозу имущество оптических фабрик. Особенного внимания заслуживала упомянутая уже фабрика машинных масл Эльриха, на эвакуации которой настаивал Петроград. Фабрика эта послужила поводом спора между центральным правительством и главнокомандующим балтийским флотом, который категорически выступил против ее эвакуации и послал сюда с этой целью начальника операционного отдела своего штаба—капитана 1-го ранга, Колчака, позднейшего правителя России. Благодаря его энергичному выступлению, представитель военно-промышленного комитета должен был уступить ему и отказаться от своих требований.

Одновременно я получил приказ из ставки начать эвакуацию Курляндской губернии, уничтожить по-

севы, вывезти всю медь, даже и церковные колокола, и выселить все население, в связи с немецким наступлением, которое тогда опять началось. Всей этой работой была страшно перегружена моя канцелярия, едва справлявшаяся с текущими делами. Для специальной работы по эвакуации Риги я располагал всего только одним чиновником для особых поручений, так что в действительности мы с ним вдвоем и составляли эвакуационную комиссию. Так как в это время я получил от своего начальства обещанный мне военным министром приказ об эвакуации, то я в ряде телеграмм к нему и к генералу Беляеву настаивал, чтобы мне выслали также постановление об учреждении специальной комиссии и откомандировали в мое распоряжение специалиста, как это мне было обещано. Но эти обещания мне опять повторяли, а сделать ничего не сделали.

Наконец, в первых числах июля ко мне приехал служащий главного артиллерийского управления генерал Залюбовский, со своими помощниками, превышавшими по своему числу всю мою канцелярию, а также генерал Слезкин, откомандированный из штаба двинского военного округа. Оказалось, что генерал Залюбовский, кроме общего приказа эвакуировать рижские фабрики и заводы, не получил никаких других инструкций, а военное министерство не взяло даже на себя труда ознакомить его с нашими взаимными отношениями. Цель моя была избежать по возможности недоразумений. Я передал поэтому генералу Залюбовскому все дело по эвакуации в полное распоряжение и оставил за собой, кроме общего наблюдения, право разрешения принципиальных вопросов, для участия в рассмотрении которых я приглашал в особые заседания не только чиновников местной администрации и постоянно

менявшихся представителей военного министерства, но и всех фабрико и заводовладельцев.

Генерал Залюбовский оказался очень энергичным, но мелочным человеком, с наклонностью преувеличивать свою роль. Мне удалось избежать всяких личных столкновений с ним, хотя некоторые из его требований были совершенно неисполнимы, что не мешало ему, однако, постоянно жаловаться на меня в Петроград. Между прочим, он считал подлежащими эвакуации также памятники, церковные колокола и медные крыши церквей, на что он получил из Петрограда подтверждение приказания, данного ему из ставки.

Однако, эвакуация, несмотря на всю затраченную нами энергию, совершалась далеко не планомерно. Дело выглядело так, точно Рига должна быть занята немцами через несколько дней. Машины различных фабрик были сброшены в одну беспорядочную кучу, а памятник Петру I, посланный морем, в дороге затонул. Такое ведение дела в Риге, в городе, являющемся третьим в России по своей промышленности, совершенно разрушило ее и произвело в ней полный развал. Вопреки утверждению генерала Беляева в комиссии, фабрики и заводы внутри России не были восстановлены. Часть машин совершенно пропала и была даже выброшена во время пути из вагонов.

С особенной благодарностью я вспоминаю о представителе земско-городского союза Астрове, умевшем удерживать чрезмерное рвение генерала Залюбовского и деятельно помогавшем мне своими знаниями и трудом в разрешении труднейших вопросов.

Описанная разруха Риги поставила меня, как начальника края, перед серьезным вопросом, что предпринять с рабочими эвакуированных предприя-

тий. Я считал безусловно необходимым озаботиться об их материальном положении и выработал особый приказ о нормах вознаграждения, которое они должны были получить за приостановленные не по их вине работы. Этот приказ был потом положен, почти без всяких изменений, в основу распоряжения совещания по обороне о вознаграждении рабочих при эвакуации фабричных и заводских предприятий.

Эвакуация Курляндии совершилась в назначенный срок, не вызвав никаких осложнений, и когда я в начале августа 1915 года в последний раз оставил Ригу, дело можно было считать совершенно законченным в главном.

В это время открылась сессия Государственной Думы. Депутат Курляндии Гольдман исполнил свое обещание, так как деятельность курлянского губернатора Набокова и моя подверглась на первых же заседаниях Думы незаслуженной критике. Министр внутренних дел князь Щербатов, две недели тому назад высказавший мне, при личной встрече, полное согласие с моей политикой в Прибалтийском крае и отозвавшийся с похвалой о деятельности Набокова, поспешил услужливо согласиться с нападками на нас и заявил, что отзывает Набокова.

Принести меня с таким же легкомыслием в жертву князю Щербатову не удалось, так как я был подчинен верховному главнокомандующему. Но оказалось, что он и здесь сделал попытки повлиять соответствующим образом на великого князя. Я вскоре получил телеграмму от главного начальника снабжений с просьбой немедленно явиться в Слоним. Здесь генерал Данилов сказал мне, что из ставки получено предписание отозвать меня из Риги и причислить к двинскому военному округу. Приэтом генерал Данилов выразил мне глубокое сожаление по поводу этой перемены, так как ни

он, ни главнокомандующий фронтом не имели оснований быть мною недовольными, напротив—вполне одобряли мою деятельность и готовились представить меня к награде. Распоряжение это шло лично от великого князя.

Я очень хорошо понимал, что это распоряжение есть результат происков моих политических врагов в Думе и вне ее, и потому подал через князя Туманова прошение государю, принявшему на себя тогда высшее командование армией, в котором просил о назначении следствия над моей деятельностью. Государь отнесся милостиво к моей просьбе и назначил для этого генерал-ад'ютанта П. П. Баранова. В то же время князь Туманов был назначен командующим петроградским военным округом и пригласил меня к себе.

Перед своим от'ездом из Витебска я составил на основании своих канцелярских документов отчет о своем управлении Прибалтийским краем, как это полагается по уставу действующей армии, и дал его печатать. Отчет был представлен по назначению, но в то же время я отправил его с особенным письмом к генералу Янушкевичу на Кавказ с просьбой представить его великому князю. Вскоре я получил ответ, что просьба моя исполнена, и что великий князь выразил свое удовлетворение тем, что в отчете этом я опроверг все возведенные на меня обвинения. Сообщение это было для меня большим нравственным удовлетворением, так как я всегда очень ценил милостивое отношение ко мне его императорского высочества.

В Петрограде я получил письмо от генерал-ад'ютанта Баранова, в котором он извещал меня о высочайше последовавшем назначении его, просил прислать ему один экземпляр моего отчета и явиться для переговоров в главное военно-судное управление.

В 1880 году П. П. Баранов командовал 4-м эскадроном лейб-гвардии Уланского его величества полка. Этот полк стоял в Петергофе и принадлежал к составу бригады, к которой принадлежал также лейб-гвардии конный полк, в который я в том году был выпущен офицером. Расквартирование в одном месте и близкие отношения между обоими полками дали мне возможность близко познакомиться с ротмистром Барановым. Впоследствии он командовал Уланским полком, но затем стал заведующим дворцовой частью умершего великого князя Михаила Николаевича, шефа конных гренадеров, так что мои отношения к генералу Баранову больше не прерывались. Я знал его, как безупречно честного и вполне справедливого человека, неспособного по характеру своему к какой-бы то ни было интриге. Но он был довольно ограниченный человек, не обладавший в гражданском управлении никакими познаниями. В это время он был уже в очень пожилом возрасте. Тем не менее я был очень рад, что мое дело попало в его руки.

При нашем первом, весьма дружественном свидании, он познакомил меня с помощником главного военного прокурора, генерал-майором Игнатовичем. При первом взгляде бросилась в глаза огромная разница между этими двумя людьми. На беспристрастие генерала Игнатовича мне, очевидно, нельзя было рассчитывать. Это был тип человека „чего изволите“ в полном значении этого слова, тип беспринципного карьериста. Мои „друзья“ Поливанов, Родзянко и Гучков хорошо знали эти качества его, когда избрали его помощником генерал-ад'ютанта Баранова.

При первом же слове его мне стало ясно, что он имел определенную инструкцию собрать по возможности изобличающий меня материал. Тенден-

циозность его поведения сказалась во время последующих допросов, на которых генерал Баранов не всегда присутствовал, в казуистике его вопросов и в попытках задерживаться на мелочах. К счастью я обладаю хорошей памятью и кроме того, все распоряжения, касавшиеся управления Прибалтийским краем, просматривались лично мной. Поэтому попытки моих следователей поймать меня в нарушениях закона и измене государству оказались безрезультатными, что было очевидно из данного мне по окончании расследования опросного листа, в котором повторялись те же сплетни и басни обо мне, как и в нападках на меня членов Думы, в роде телеграммы депутата Маклакова: „в Риге измена". Опровергнуть все это было нетрудно, и я это сделал в несколько дней. Тем не менее, расследование моего дела тянулось почти год, после чего результаты его были представлены царю. Узнав об этом, я попросил генерал-ад'ютанта Баранова дать мне возможность ознакомиться с докладом, но он мне сказал, что это тайна, и что он мог бы сделать это только с разрешения государя.

Кажется невероятным, что результат расследования, начатого по моей просьбе, так как мое прямое военное начальство не возбудило против меня никаких обвинений, оставался тем не менее для меня тайной. Царь пребывал в Могилеве, и я поэтому обратился к генералу Алексееву с просьбой доложить государю мою просьбу разрешить мне приехать к нему для личного доклада. Царь согласился. Когда я явился к генералу Алексееву, то не застал его дома, но дежурный ад'ютант сказал мне, что он сообщит мне час моего приема, как только генерал вернется.

Дом, в котором жил ген. Алексеев, находился в том самом дворе, где был и дом губернатора,

в котором жил царь и ближайшие к нему лица. Я направился туда, чтобы повидать своих старых товарищей по полку генерал-ад'ютанта Максимовича и гофмаршала князя Долгорукого. Из них первый во время отсутствия графа Фредерикса исполнял обязанности дворцового коменданта.

Генерал Максимович сообщил мне, что доклад о моем деле, представленный царю генералом Барановым, передан царем без всякой резолюции в штаб и что я могу ознакомиться с докладом через генерала Алексеева. Генерал Максимович добавил, что он поверхностно просмотрел доклад, не нашел в нем никаких обвинений против меня, но что тон его в общем для меня неблагоприятен.

В тот же вечер генерал Алексеев пригласил меня на обед в военное собрание и выразил мне сожаление, что он не мог принять меня раньше, будучи перегружен работой. После обеда он спросил меня о цели моего приезда, и на мою просьбу дать мне возможность ознакомиться с докладом генерала Баранова, ответил, что завтра он должен доложить его царю и результат я смогу узнать после завтрака. На другое утро я был немало удивлен, когда гофкурьер передал мне по телефону приглашение царя к завтраку. Я ответил, что не имея в виду беспокоить его величество просьбой об аудиенции, я не взял с собой необходимой формы. Мне ответили, что к завтраку можно явиться в обыкновенном кителе.

В час дня я был в палатке, разбитой в саду, где собрались и другие приглашенные к завтраку лица. Здороваясь с генералом-ад'ютантом Максимовичем и князем Долгоруким, я понял, что я им обязан вниманием государя. Генерал Алексеев, при виде меня, был очень удивлен. Несколько минут спустя вошел государь в сопровождении наследника. Го-

сударь милостиво поздоровался со мною, но не сказал ни слова о моем деле.

После завтрака царь по обыкновению обходил всех, говорил с каждым несколько минут, но и здесь не заговорил со мною. Я с горечью подумал, что верно доклад генерал-ад'ютанта Баранова является причиной неудовольствия государя. Все вышли в сад, и государь, беседуя с английским посланником, ушел несколько вперед. Он остановился около клумбы, от которой шли несколько дорожек, попрощался с посланником, и обратившись к стоявшей в некотором отдалении группе лиц, среди которых находился и я, позвал меня громким голосом:

— Генерал Курлов...

Я поспешил к царю, который, милостиво улыбаясь, сообщил мне, что сегодня утром он приказал своему начальнику штаба передать мне для прочтения доклад генерал-ад'ютанта Баранова.

— Зачем он вам?..—продолжал государь и, когда я возразил, что, если в нем и нет прямых обвинений против меня, то все-же он содержит неблагоприятный отзыв о моей деятельности, и я поэтому желал бы представить его величеству свои об'яснения, государь сказал:

— Мне не нужны ваши об'яснения. Я считаю вас совершенно правым и не обращаю никакого внимания на общие пункты. Ваши об'яснения быть может пригодились бы для истории или для архива.

Я сказал государю, что счастлив таким милостивым отзывом о моей службе, и государь заметил, что вполне разделяет мой взгляд на нежелательность формирования латышских полков и что впредь он не разрешит образования новых таких полков. Государь закончил беседу, повторив лестный отзыв о моей деятельности.

Я ознакомился в этот день с докладом и узнал в нем знакомый тон моих противников. Генерал Баранов не отметил моей напряженной и трудной работы, хотя и признал безупречность моего расходования государственных средств. Затем он указал, что поднятая против меня кампания в Думе находится в связи с будто бы неправильными расходами по охране Столыпина, но приэтом забыл упомянуть, что все подозрения на этот счет давно мною опровергнуты. Затем он коснулся моей деятельности по эвакуации населения, но говорил о ней не по существу, и не о ее действительном положении, но упрекал меня, что я не проявил при проведении ее надлежащей энергии. Говорил о кутежах двух моих подчиненных чиновников, но не указал, знал ли я об этих кутежах, и т. д. Наконец, он ставил мне в вину, что я редко выезжал в уезды, хотя признавал, что я работал день и ночь. Но он забыл добавить, что у меня не было помощника, на которого я в случае выезда мог бы оставить все дела, и то, что при моем отсутствии должно было бы остановиться все делопроизводство.

Наконец, я в этом следственном материале нашел еще один тайный документ, который очень обрадовал меня, именно: телеграмму великого князя министру внутренних дел, князю Щербатову, в ответ на его просьбу отозвать меня из Риги в 1915 году. В этой телеграмме великий князь сообщал министру, что он и главнокомандующий фронтом очень довольны моей службой, но что он согласился тем не менее на мое отозвание из Риги только потому, что министр считал это необходимым по политическим причинам.

Из Могилева я вернулся в Петроград, где потом получил несколько командировок по распоряжению командующего военным округом по ин-

спекции запасных батальонов, расположенных в Вологодской губернии и в других местах округа. —

Этим окончилась моя служба в военном ведомстве, и мне суждено было снова перейти на службу в министерство внутренних дел.

ГЛАВА XX.

В конце лета 1916 года из-за границы вернулся мой старый товарищ по полку и друг, А. Д. Протопопов. При первом же нашем свидании он рассказал мне о случае, бывшем с ним в Швеции и сыгравшем такую важную роль в его позднейшей жизни, так как, благодаря ему, его даже заподозрили и обвинили в государственной измене. Я передаю здесь эпизод его собственными словами, как он записал их в своем дневнике.

По словам Протопопова, русский посланник, при его проезде через Швецию, сообщил ему, что с ним желал бы переговорить на нейтральной почве немецкий посланник. Протопопов из'явил на это согласие, но на условленном месте нашел не немецкого посла, а советника посольства Варбурга, который передал Протопопову письмо своего начальника с извинением, что вследствие поранения ноги тот явиться не может. Беседа с Варбургом носила общий характер и на основании вопросов и ответов Протопопова можно было придти к заключению, что все, сказанное Протопоповым, было вполне корректно. Тема о возможности сепаратного мира в этой беседе вообще не была даже затронуто..

Б. В. Штюрмер, бывший тогда министром иностранных дел, с своей стороны признал, что А. Д. Протопоповым не были нарушены интересы ни России, ни правительственной власти. Он доложил об этом

государю, который пожелал видеть Протопопова и лично узнать у него подробности его парламентского путешествия за границу вообще и его пребывания в Швеции, в особенности. Это свидание сыграло роль в деле позднейшего назначения Протопопова министром внутренних дел.

Протопопов был не только центром последнего кабинета, но и в периоде подготовки к революции он имел огромное влияние на ход дел. Я поэтому считаю необходимым остановиться подробнее на его характеристике. Но мне довольно трудно оставаться об'ективным при оценке моего старого полкового товарища, так как я искренно любил его и особенно теперь, когда он искупил мученической смертью свои невольные ошибки.

Все, знавшие Протопопова, согласятся с тем, что он представлял собою тип так называемого „очарователя" — никто не мог отказать ему в уме и способностях. Не без основания он был persona gratissima в Думе, товарищем председателя которой он неоднократно избирался значительным большинством. Необходимо добавить, что Дума не могла найти в своей среде другое лицо, которое она избрала бы своим представителем при этой поездке за границу. Его блестящие речи и его обаятельное поведение показали всем и даже далеко стоящим лицам, что Дума правильно поступила, избрав его своим представителем.

Здесь я хочу привести следующий вспомнившийся мне факт. Выйдя после смерти Столыпина в отставку, я в течение некоторого времени лечился в санатории доктора П. А. Бадмаева под Петроградом. Там жил и лечился также и А. Д. Протопопов. Я припоминаю, как часто его, больного, навещал тот самый М. В. Родзянко, который потом, 1 января 1917 года, отказался подать ему при

встрече во дворце руку. Родзянко являлся к Протопопову совещаться с ним по разным вопросам, возникавшим в Думе во время болезни его, и даже привозил ему для прочтения наиболее важные бумаги.

Государь, находясь под личным обаянием А. Д. Протопопова и желая, согласно давнишнему желанию Думы, назначить министра из ее среды, избрал его.

Положение Протопопова круто изменилось, и он из любимцев Думы сразу превратился как бы в парию ее. Эта внезапная перемена об'ясняется не поведением Протопопова. То, что я рассказываю здесь, не является, как можно было бы думать, продиктованным симпатией к Протопопову: я стою здесь на почве фактов, невольным свидетелем которых я был.

А. Д. Протопопов получил высочайший приказ об его назначении министром около 6 часов вечера. Мы жили очень близко друг от друга, и он сейчас же сообщил мне об этом по телефону. В то же время он пригласил меня немедленно явиться к нему. Несколько минут спустя, я вошел в его кабинет и застал его у телефона. Он движением руки пригласил меня сесть и я услышал следующий разговор:

— Это вы, Михаил Владимирович?.. Спешу поделиться с вами, как с своим старым другом, радостной вестью: государь император только что назначил меня министром внутренних дел. Я очень хотел бы сейчас повидаться с вами и переговорить.

Ответа я, конечно, не слышал, но Протопопов повернулся ко мне с сильно изменившимся лицом и сказал:

— Представь себе, что мне ответил Родзянко: „У меня нет времени для беседы с вами". Что такое

произошло?.. Чем вызван такой ответ?.. Разве с этой минуты я стал другим человеком?..

Я не хотел разочаровывать в этот момент своего друга и говорить ему о том, что желание Думы иметь министра из своей среды было одной стороной медали, а стремление каждого из членов ее быть назначенным на этот пост—другой ее стороной.

Действительно, что же произошло?.. Превратился ли А. Д. Протопопов в один день из левого октябриста в приверженца крайних правых и сторонника самодержавия?.. Не подлежит никакому сомнению, что такой перемены не было, так как Протопопов не мог принадлежать к левым партиям ни по рождению, ни по своему воспитанию, ни наконец по своему материальному положению, и что его октябризм был только модным флагом, под которым он прошел в Думу.

Перед своим назначением в министры Протопопов имел продолжительную беседу с государем и, если его обаяние подействовало на царя, то с другой стороны и он в свою очередь был очарован царем. Все, кто имел счастье говорить когда-либо с царем, знают, как он при желании мог каждого очаровать. После этой беседы легко возбудимый и впечатлительный А. Д. Протопопов воспылал любовью к царю.

Вернувшись из ставки, он рассказывал всем и каждому не только о своих чувствах, но и о своей бесконечной готовности отдать все свои силы на поддержку самодержавия. При его откровенности это не осталось, конечно, тайной в депутатских кругах. По примеру своих предшественников, начиная с Н. А. Маклакова, и А. Д. Протопопов также явил собою пример, что для министра внутренних дел недостаточно одного желания и готовности быть

полезным царю и отечеству, но что для этого необходимы еще знания и опыт. Критиковать деятельность правительства и направлять твердой рукой руль государственной жизни далеко не одно и то же.

Когда Протопопов произнес в Москве свою первую речь и заявил, что не будет вести никакой собственной политики, а будет поддерживать политику премьера Штюрмера, с которым, сказать мимоходом, он находился во враждебных отношениях и который всячески действовал против его назначения, я ему тотчас же сказал, что такая речь в устах министра внутренних дел—это похороны его по первому разряду.

Далее, Протопопов не был приучен к правильной работе: он не имел определенных взглядов на те или иные государственные вопросы, но прежде всего он не обладал энергией для проведения намеченной программы. В министерстве царствовал полный хаос. Его откровенность вызывала даже протест его товарищей, князя М. В. Волконского и В. А. Бальца, а директора департаментов и прочие подчиненные были совершенно сбиты с толку, что повлекло за собой полный застой в деятельности всего ведомства.

Вследствие его непостоянства страдали также и его отношения к Думе: под влиянием минуты он решал то распустить ее, то временно прервать ее деятельность, но никогда он собственно не представлял себе, что именно нужно делать. Я припоминаю одно совещание товарищей министров, в котором шла речь о роспуске обеих палат. Перед этим Протопопов просил меня выяснить настроение петроградского гарнизона. Я пригласил для переговоров командира резервных частей гвардии генерал-лейтенанта Чебыкина и его помощника пол-

ковника Павленко и пришел к заключению, что правительство, несмотря на категорические уверения, что в войсках все обстоит благополучно, не может вполне рассчитывать и полагаться на гарнизон. Был недостаток в преданных кадровых офицерах, в рядах которых было много занимавшихся пропагандой лиц, дисциплина в войсках была крайне ослаблена. Когда я вернулся от генерала Чебыкина и доложил, что после всего, что я узнал, о роспуске Думы не может быть и речи, Протопопов был крайне изумлен, тем более, что мнение мое вполне разделяли князь Волконский и В. А. Бальц.

Дальнейшие события, разыгравшиеся в течение последних месяцев перед революцией, подтвердили правильность моего мнения о характере Протопопова. Когда вопрос о его назначении министром внутренних дел близился к осуществлению, он сообщил мне об этом столь важном для него событии и высказал опасение, что у него не будет достаточно опыта для такой ответственной деятельности. Вместе с тем он предложил мне пост своего товарища, от чего я категорически отказался, но согласился исполнять эти обязанности впредь до того момента, пока удастся найти для этого подходящего кандидата. После долгих колебаний Протопопов согласился с моими убеждениями и немедленно после опубликования указа об его назначении он просил начальника петроградского военного округа откомандировать меня в его распоряжение. Последовало высочайшее разрешение о переводе меня в министерство внутренних дел с причислением к генералам, находящимся в его распоряжении.

Протопопов очень хорошо сознавал, что спокойствие в государстве зависело от правильного функционирования аппарата снабжения, так как возник-

ший вследствие продолжительности войны недостаток в предметах первой необходимости возбудил бы неудовольствие населения и был бы использован оппозицией и революционными организациями, как наиболее действительное средство борьбы против правительства. Это было бы тем более возможно, что они создали постоянными выступлениями в Думе, агитацией в печати и резолюциями разных обществ особую „боевую" атмосферу для таких вопросов.

Протопопов держался мнения, что дело снабжения страны должно быть сконцентрировано в руках министерства. Он прежде всего хотел ознакомиться с действительным экономическим состоянием столицы, в которой зарождаются обыкновенно все волнения и беспорядки. Протопопов попросил меня заняться выяснением вопроса, в каком положении находится снабжение Петрограда. Я обратился к петроградскому градоначальнику князю А. Н. Оболенскому и после беседы с ним выяснил, что снабжение столицы находится более или менее в порядке, и что ей не угрожает чувствительный недостаток в жизненных припасах, не говоря уже о голоде.

Некоторые затруднения в снабжении возникли благодаря расстройству транспорта, а также тому обстоятельству, что из ряда губерний был запрещен вывоз продуктов, каковое запрещение было впоследствии отменено центральным правительством. Я уже не говорю о запрещениях вывоза, исходивших от специальных учреждений, ведавших снабжением армии. Эти сведения были даны мне, как чиновниками особой комиссии при петроградском градоначальнике, так равно и полицией, являющейся центром для руководства практической деятельностью по снабжению Петрограда.

Я ознакомил министра с результатами моего расследования и указал, что деятельность градоначальника в области снабжения Петрограда в общем удовлетворительна, и что недостаток припасов об'ясняется независящими причинами. Протопопов, однако, был со мной несогласен и считал, что петроградский начальник не развил здесь надлежащей энергии. Он настоял на том, чтобы князь Оболенский вышел в отставку, и государь причислил его к своей свите. Преемник Оболенского и последний петроградский начальник, бывший прежде помощником варшавского обер-полицеймейстера А. П. Балк был хорошо знаком с полицейской службой и соединял в себе практичеекие знания с безусловной честностью. Но и он при своей необыкновенной работоспособности ничего не мог сделать в эти последние месяцы.

Вопрос о снабжении населения был, как я уже сказал, предметом совещания в губернских земских собраниях, в общественных организациях и, наконец, в думской комиссии. По поводу его шли дебаты, в ведение какого министерства его следует передать. Министерство внутренних дел, при громадном разнообразии круга его деятельности, было уже потому неприемлемо, что в его ведении находилась полиция. Другим неприятным фактором являлся сам министр, и потому все либеральные резолюции требовали передать этот вопрос в ведение министерства земледелия, тем более, что министр граф А. А. Бобринский был членом Думы и пользовался ее уважением. К этому решению присоединилась и думская комиссия.

В виду важности вопроса о питании населения, Протопопов делал доклады царю и в то же время старался добиться, чтобы вопрос этот был всецело передан в его руки. Государь согласился с этим и

по телеграфу приказал Штюрмеру провести закон об этом в порядке 87 статьи Положения о Думе. В виду перерыва в деятельности обеих законодательных палат Штюрмер задержал опубликование этого приказа почти на две недели и заявил Протопопову почти накануне возобновления парламентской сессии, что закон этот будет опубликован в тот же день, чем очень поразил Протопопова. Такое запоздание Штюрмера было, впрочем, вполне понятно: он предвидел, что его деятельность и его политика подвергнутся острой критике уже в первом заседании Думы и желал поэтому направить этот удар на министра внутренних дел. Он, повидимому, ни одной минуты не думал о том, что подобный акт вызовет раздражение против государя. Протопопов сообщил мне об этом с очень недовольным видом и спросил моего мнения на этот счет. Я посоветовал ему употребить все меры чтобы задержать опубликование этого закона. И действительно, Штюрмер в ту же ночь получил телеграмму от государя с приказанием задержать высочайший указ.

В первых числах октября А. Д. Протопопов попросил меня временно взять на себя исполнение обязанностей товарища министра внутренних дел. На это последовало высочайшее соизволение, и он известил меня об этом, как принято в подобных случаях, оффициальным письмом, и передал в мое ведение департамент полиции. В день моего вступления в должность у меня случайно находился заведующий I отделением департамента общих дел, Н. Н. Боборыкин. Зная, что министр не особенно хорошо знаком с канцелярской техникой, я просил его не забыть послать в правительствующий сенат сообщение о моем назначении и на другой день опять напомнил об этом директору департамента

общих дел. Он успокоил меня и сказал, что приказ об этом уже дан для подписи Протопопову.

Две недели спустя я посетил, по поручению Протопопова, для переговоров о служебных делах министра путей сообщения, А. Ф. Трепова. По окончании делового разговора, Трепов спросил меня, почему правительствующий сенат не извещен до сих пор о моем назначении, и добавил, что об этом была речь накануне вечером в совете министров. Я сообщил ему подробности этого дела, отправился от Трепова к Протопопову и рассказал ему об этом. Он схватился за голову, сказал, что совершенно забыл послать извещение в сенат, и начал искать его на всех столах, заваленных всевозможными бумагами. Извещение, наконец, было найдено. Я положил его перед Протопоповым и просил подписать его, и он обещал сейчас же исполнить мою просьбу. Я очень спешил и потому не мог ждать и убедиться лично в исполнении им этой просьбы.

Ту же историю повторил мне по телефону, несколько дней спустя, мой прежний товарищ по службе в московском судебном округе, обер-прокурор I-го департамента правительствующего сената, А. И. Руадзе. По его словам, у него имеется несколько бумаг министерства внутренних дел, подписанных мной, но он не может дать им хода, так как не имеет официального извещения о моем назначении. Я опять напомнил об этом Протопопову, и он снова обещал мне немедленно послать извещение в сенат. Каково же было мое удивление, когда в день открытия Думы был поставлен вопрос, на каком основании я исполняю должность товарища министра внутренних дел, когда об этом не был опубликован высочайший приказ. Мне пришлось после этого выразить Протопопову свое неудовольствие в довольно резкой форме.

Враги мои снова внесли запрос в Думу обо мне, хотя в сущности они только повторили прежние обвинения, связанные с минскими делами, убийством Столыпина, моей службой в главном тюремном управлении и т. п. В этот раз я добился у Протопопова разрешения выступить в печати с опровержениями, но их пришлось поместить в „Петроградской газете", так как все другие органы отказались их печатать. В этих статьях я детально опроверг все обвинения, возведенные против меня Думой. На мои статьи в той же газете последовал ответ одного члена Думы, в котором снова повторялись прежние ложные обвинения против меня, причем сам автор сознавался, что он повторяет их с чужих слов, так как свидетелем моей деятельности не был. Полагая, что подобные нападки на меня еще более затрудняют и без того нелегкое положение Протопопова в Думе, я подал в отставку, на что последовало высочайшее соизволение. Приэтом правительствующий сенат получил высочайшие указы о моем назначении и уходе в отставку одновременно.

Ознакомившись в течение октября с данными департамента полиции, я пришел к заключению, что положение государства очень тяжело и даже угрожающе, так что должно прибегать к особенным полицейским мерам с целью поддержания порядка. Руководители революции распределились по легальным организациям: по союзу городов и земств, военно-промышленному комитету, и особенно в его рабочей группе, и по находящимся с ней в связи заводам и фабрикам. Повсюду здесь велась антидинастическая пропаганда, которая, благодаря близости фронта, перекинулась и в действующую армию.

В Петрограде собралась огромная масса запасных, которые напоминали скорее бунтовщиков, чем дисциплинированные войска. Все меры министерства

внутренних дел по охране порядка наталкивались на противодействие главнокомандующего армиями северного фронта, генерал-ад'ютанта Рузского, так что Протопопов принужден был просить государя из'ять столицу в административном отношении из ведения главнокомандующего. Но царь дал свое согласие только перед самой революцией. Командующий округа, генерал Хабалов, совсем не понимал опасности, угрожающей Петрограду вследствие такого большого скопления в нем запасных. Это получило характерное подтверждение в факте нападения солдат 180 пехотного полка на полицию во время небольших волнений в выборгском районе. Министерство внутренних дел должно было сделать большое напряжение, чтобы удалить из столицы хотя бы этот полк.

Высшее общество, потерявшее голову после убийства Распутина и при последовавшем после него изгнании великих князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, говорило совершенно открыто о необходимости дворцового переворота. Мысль эта встретила сочувствие среди некоторых членов царствующего дома, причем указывали на великого князя Михаила Александровича, как на будущего кандидата на престол, хотя сам он при своей любви к брату и семье его стоял вне всяких политических группировок. Все эти слухи были пущены в ход революционными выступлениями в Думе членов прогрессивного блока. Оказалось, что совместная работа с правительством невозможна, хотя Штюрмер вследствие сильной агитации должен был уйти в отставку.

Появление в Думе нового премьера А. Ф. Трепова также было встречено криками негодования, хотя он не совершил еще ничего такого, чтобы вызвать подобное возмущение. Очевидно, крики от-

носились к нему как к представителю власти. Я уже не говорю об оскорблениях, которым подвергся министр внутренних дел. Всем памятно заседание Думы, посвященное „разоблачениям“ Протопопова, которое перешло не только всякие границы, но нарушило и элементарные парламентарские приличия, причем Дума мешала прежнему вице-председателю, а теперешнему министру, дать об'яснения на сыпавшиеся на него со всех сторон нападки и обвинения. Протопопов совершенно потерял голову. Он находился под влиянием словесной схватки между Родзянко и Треповым и не имел мужества выступить в Думе, как представитель правительства. Он не осмелился на это и в качестве члена Думы, от какового звания, вероятно, не отказался, так как демонстративно пересел со скамьи министров на свое депутатское место.

Травля против Протопопова не прекратилась с первого раза. Прогрессивный блок энергично готовился продолжать ее, так как сам министр по временам подавал повод к этому. Это особенно резко сказалось в частном совещании членов Думы, на которое Протопопов явился в форме шефа отдельного корпуса жандармов. Все, что произошло в этом заседании, получило огласку в широкой публике, среди которой потом циркулировал печатный протокол этого собрания. Протопопов уверял, что содержание этого протокола не соответствовало действительности. Он был жестоко осмеян в этом протоколе, и публика, враждебно настроенная против правительства, конечно, отнеслась к этому документу с полным доверием.

Высшего напряжения достиг поход против правительства в речах членов Думы П. Н. Милюкова и Пуришкевича и члена Государственного Совета—сенатора Таганцева. В этих речах содержались

прямые оскорбления царя и царицы, которые, однако, сошли ораторам совершенно безнаказанно.

Было ясно, что власти больше нет, а есть только один неясный призрак ее...

ГЛАВА XXI.

Совокупность всех приведенных здесь данных показала мне тогдашнее положение государства в гораздо более серьезном, даже угрожающем свете, чем прежде. Я понял, что царской России грозит скорый конец и что, к несчастью, нет человека, который сумел бы предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Невольно я вспомнил незабвенного П. А. Столыпина. Его ум и воля смогли бы предупредить крушение государственного корабля, но не было человеческой силы, которая могла бы призвать из гроба неустрашимого русского героя. Его сменили на посту бесталанные и безвольные пигмеи, которые не знали даже, в какую сторону им повернуться. Тем не менее я решился до конца исполнить мой долг перед государем и родиной.

В декабре, когда скандалы в Думе достигли своего апогея, а Протопопов, несмотря на травлю Думы, коллег и печати, отчасти им же самим созданной, все еще не мог ни на что решиться, он прибег по своему обыкновению к паллиативной мере: он добился у государя роспуска Думы, а самому себе выхлопотал отпуск на время рождественских праздников, причем оставил за собою право общего руководства делами своего ведомства. При таких условиях товарищи его князь Волконский и Бальц отказались взять на себя управление делами министерства и для этого был назначен третий товарищ С. А. Куколь-Яснопольский. Это был безупречный

человек, не имевший, однако, в течение своей долголетней службы никакого отношения к политике и потому совершенно неспособный, вследствие недостатка всякой инициативы, стать в такое тяжелое время во главе министерства. Во всяком случае он оказал Протопопову большую услугу тем, что хоть привел в порядок его бумаги, находившиеся в хаотическом состоянии.

Однажды вечером я попросил Протопопова принять меня для продолжительной и серьезной беседы и распорядиться никого больше не принимать, дабы никто нам не помешал. Это было неособенно легко для него, так как он принимал всегда множество нужных и ненужных ему людей и вел с ними долгие, иногда до утра длившиеся разговоры. Я изложил ему все новости дня, указал на фактическое положение вещей и высказал мысль, что необходимо принять самые решительные меры, иначе грозит гибель не только монарху и династии, но и всей стране.

Сообщение мое произвело на него, повидимому, сильное впечатление, но положительных результатов не дало: он сперва сказал, что такой поворот дел является для него неожиданным, и я слишком пессимистически смотрю на вещи, потом начал произносить громкие фразы о том, что готов для спасения государя и самодержавия пожертвовать даже своей жизнью и наконец, когда минуло его героическое, совершенно впрочем искреннее возбуждение, он по обыкновению спросил меня, что делать.

Как это мне ни было тяжело, я посоветовал ему подать в отставку, причем он должен был сделать это не в угоду Думе, работать с которой далее, как показал вынужденный уход Штюрмера, было невозможно, а потому, что он не в состоянии справиться с министерством, где царствует полный

хаос в делах и где дисциплина подорвана в корне.

— Но ты же сам был против роспуска Думы,— сказал Протопопов.

Мне пришлось об'яснить ему, что один лишь роспуск законодательных палат не в состоянии помочь делу и что для этого безусловно необходим длинный ряд неотложных реформ, введение которых завоевало бы царю и его правительству симпатию большинства народа. Я был того мнения, что длительная война, в которой принимают так или иначе участие все слои общества и в которой роль армии играет вооруженный народ, должна неизбежно повлечь за собою государственный переворот даже независимо от ее исхода. Правительство обязано обеспечить по возможности безболезненный переход и сдерживать инстинкты масс, всегда склонных к беспорядкам. Нельзя закрывать глаза на то, что следствием войны неизбежно явится конституция и потому необходимо все подготовить, чтобы она явилась добровольным актом сверху, а не в силу принуждения. Настоящий момент требует сохранения порядка, чего бы это ни стоило, так как перемена формы правления, особенно насильственная, повлечет за собой неблагоприятный исход войны и самые ужасные последствия для страны.

С Думой правительство не может работать планомерно и согласно; поэтому необходимо немедленно распустить ее, так как всякий перерыв или приостановка работы принесет за собой новые затруднения. Противоправительственная агитация депутатов протекла не бесследно: фактический отказ власти от своих прав в пользу общественных организаций, составляющих как бы своего рода правительство, создал популярность второй палаты и этих

организаций даже в самой армии. Правительство, распустив законодательные палаты, должно тотчас же приступить к плодотворной деятельности на пользу народа, чтобы не раздались голоса, утверждающие, что улучшения своего положения народ может ждать только от Думы. Ее нужно распустить одновременно с опубликованием закона о наделении крестьян землею, хотя бы для этого пришлось пожертвовать некоторыми интересами имущих классов населения. Затем было бы справедливо уравнять все население в гражданских правах, так как все оно несло и несет одинаковые жертвы на поле брани. Поэтому необходимо по возможности скорее издать закон о равноправии всех национальностей, в том числе, конечно, и евреев. При таких условиях нечего бояться роспуска представительных палат, так как большинство народа будет стоять на стороне правительства.

Так как я думал, что Протопопов не согласится с моими доводами, и так как я не хотел нести ответственность за надвигавшееся крушение трона, то выразил Протопопову в конце нашей беседы опасение, что его доклад царю об изложенных мной фактах и выводах не произведет на него желаемого впечатления. Помимо этого министр может натолкнуться на известные трудности, когда начнет давать об'яснения царю, который хорошо знаком с политическими вопросами. Поэтому я предложил Протопопову испросить разрешение государя сделать ему личный подробный доклад об этом в присутствии его, Протопопова. Протопопов согласился с этой мыслью, обещая доложить государю уже на следующий день и высказал надежду на благоприятный ответ. Но на этот раз очень быстро изменились его первое впечатление и решение: хотя он в следующие дни продолжал уверять меня, что

скоро устроит мне аудиенцию у государя, но я скоро понял по его манере, что он ничего царю не докладывал, да не доложит и впредь. Я не допускаю, что им в данном случае руководили личные мотивы, но он боялся, что я скажу царю всю правду, как бы тяжела она ни была, и какие бы последствия она для меня не имела. Таким образом я убедился, что делу помочь не могу, и мне ничего не оставалось, как удалиться в отставку, что я и сделал.

В этот последний период моей совместной службы с Протопоповым кампания печати против него приняла совершенно невозможную форму. Еще до своего путешествия заграницу он с воодушевлением говорил мне, что надеется осуществить давно лелеянную мысль, именно создать политическую газету, в которой будут участвовать выдающиеся литературные силы и которая будет отстаивать интересы крупного землевладения и капитала. Незадолго до его назначения я спросил его, в каких отношениях он будет находиться к задуманному органу в качестве министра, и получил в ответ, что его влияние, как основателя этого органа, сохранится навсегда и что последний будет проводить самые умеренные требования в области политики.

Мои сомнения в практической осуществимости такой комбинации он назвал пессимизмом. Первый номер этой газеты, вышедшей под названием „Русская Воля", был выдержан в резком тоне против Протопопова и, я думаю, что ни одна газета, даже самая левая, не пошла в своих нападках на министра так далеко, как это духовное детище его. Блестящие надежды на хитроумную комбинацию исчезли, и Протопопов совершил с этой газетой огромную ошибку: ему пришлось прибегнуть и к полицейским мерам, выслав из Петрограда Амфитеатрова за статью, направленную лично против

него. Все мои попытки удержать его от этого шага остались тщетными, хотя я ему напомнил, как вел себя обыкновенно Столыпин в тех случаях, когда дело касалось личных на него нападок: покойный премьер-министр не только никогда сам не преследовал за нападки на него, но даже в тех случаях, когда кто-нибудь из его ревностных подчиненных заступался за него, он отклонял все суровые меры.

Однажды Протопопов поразил меня конфиденциальным сообщением, из которого я понял, что все идет к концу. Он рассказывал мне о затруднениях при попытке удалить из Петрограда запасные полки и заменить их гвардейской кавалерией с фронта. Конечно, легкомысленно добавил он, дивизионные начальники просили государя оставить их на фронте и не лишать их чести дальнейшего участия в войне. По словам Протопопова, государь милостиво согласился на их просьбу и приказал послать в столицу любимый им гвардейский экипаж, противоправительственное настроение которого для меня не было тайной еще задолго до войны, о чем я уже много раз докладывал Столыпину. Поведение гвардейского экипажа во время революции вполне оправдало мои опасения. Я оставил министра в очень подавленном состоянии.

Незадолго до этого департамент полиции командировал на южную границу России одного жандармского полковника с поручением ознакомиться по возможности точнее с настроением тамошних войск и служащих в местных учреждениях. Сообщение этого офицера нарисовало очень печальную картину: при помощи преступной пропаганды о якобы преданности государыни немцам и об ее неограниченном влиянии на царя, а также об его будто бы полнейшем слабоволии, армия была настроена в пользу дворцового переворота. Этому помогали

явные стремления офицеров, которые забыли свои традиции и вбили в головы своих людей подобные мысли. Такие разговоры велись открыто в офицерских собраниях, не встречая никакого противодействия со стороны высшего военного начальства.

Я провел бессонную ночь. На другое утро я об'яснил Протопопову, что подавленный всем происшедшим и своей беспомощностью, к которой присоединяется еще расстроенное здоровье, я должен отказаться от службы и потому прошу освободить меня от занимаемых должностей.

5-го января 1917 г. я подал прошение об отставке, на которую последовало высочайшее соизволение. Все пережитое оказало сильное влияние на мое здоровье—я заболел и до самой революции уже не выходил из дома.

Последующие события и дальнейшая деятельность Протопопова мне мало знакомы. Я знал только, что вновь назначенный премьер Щегловитов достиг большого политического значения и что министр внутренних дел совершенно подпал под влияние его и правого крыла нижней палаты. Я почти не видел его, и только в средине января, когда он посетил меня, я умолял его упросить государя, чтобы он или совсем не ездил больше в ставку, или же, чтобы брал с собой семью: я знал, какой страшный залог представляет она собой для царя, так нежно любившего ее.

О событиях в последние дни февраля я знаю только то, что сообщил мне директор департамента полиции А. Т. Васильев, который, по моем уходе в отставку в ноябре 1916 года, занял пост товарища министра внутренних дел.

По словам Васильева, в двадцатых числах февраля в разных местах столицы стали появляться толпы народа, требовавшие хлеба.

Возбуждение масс мало-по-малу перешло в уличные беспорядки и это заставило генерала Хабалова распорядиться, чтобы во все правительственные учреждения были поставлены военные патрули, а город был об'явлен на военном положении. Вначале войска рассеивали сборища на улицах, хотя делали это видимо неохотно. Но мало-по-малу настроение войск стало враждебным по отношению к правительству. На Выборгской стороне произошло столкновение народа с полицией, во время которого был тяжело ранен полковник Шалфеев. Небольшой военный отряд, находившийся при этом, не оказал демонстрантам никакого активного сопротивления. Казакам было приказано не пропускать рабочих через мост в город, но они этого приказания не исполнили. На следующий день небольшой отряд казаков сопровождал по Невскому группу манифестантов до Знаменской площади. Когда пристав Крылов потребовал, чтобы толпа разошлась, один из казаков, по приказанию офицера, бросился на него и зарубил его шашкой. Затем серьезное столкновение произошло между лейб-гвардии Павловским полком и полицией на Конюшенной площади, причем на стороне полиции были раненые и убитые. С этой частью восставших солдат удалось справиться, хотя они стреляли в своих офицеров. Арестованные были отправлены на гауптвахту в Зимний дворец, откуда они ночью бежали. Жандармерия и полиция продолжали самоотверженно нести свою службу, но не могли, конечно, справиться с войсками.

27 февраля был убит начальник учебной команды лейб-гвардии Волынского полка штабс-капитан Лашкевич, и солдаты, соединившись с солдатами лейб-гвардии Преображенского полка, бегали по улицам нестройными толпами с оружием в руках. Здание

окружного суда и дом предварительного заключения были разгромлены и подожжены, но тем не менее у правительства были еще войска, на которые можно было положиться и которые оказывали сопротивление восставшим. В течение следующих суток в разных местах города произошли воору-женные столкновения между этими войсками и восставшими.

Я жил против Таврического дворца на углу Потемкинской и Фурштадтской улиц. Так как все время на улицах была дикая стрельба, я, опасаясь за своих малолетних детей, переехал к знакомым в верхний этаж. Телефон функционировал, хотя и не вполне аккуратно, и знакомые и родные сообщали мне от времени до времени тревожные известия, напр., занятие восставшими Петропавловской крепости, разгром дачи графини Клейнмихель и т. п.; о сне нельзя было и думать: стрельба и движение сновавших взад и вперед грузовиков длились всю ночь, между тем, как здание петроградского губернского жандармского управления, находившееся по другую сторону Таврического сада, пылало, об'ятое огнем, а начальник его генерал И. Д. Волков едва не был убит озверевшими солдатами.

Наступил ясный, зимний день 28 февраля. В обычное время вышли революционные газеты, которые принесли известие, что вечером назначено собрание представителей рабочих и солдат для выбора совета рабочих и солдатских депутатов. Тогда мне стало ясно, что царская, существовавшая столетиями, власть погибла.

На улицах гремели военные оркестры—это революционные полки возвращались в свои казармы. Здесь и там попадались конвойные солдаты, которые вели в Думу арестованных офицеров.

Около 11 часов утра следующего дня около под'езда моего дома раздались крики, и несколько

минут спустя к нам в квартиру вошел родственник моей жены, который сообщил нам, что меня разыскивает толпа вооруженных солдат. Я попрощался со своей семьей, спустился вниз в свою квартиру и здесь денщик мой сказал мне, что явились солдаты арестовать меня. Они поднялись бы наверх, если бы знали, что я там. В это время появился старый унтер-офицер с несколькими солдатами лейб-гвардии саперного батальона. Так как я был в штатском платье, то он обратился ко мне с вопросом, где генерал Курлов. Я назвал себя и он тогда сказал мне, что пришел арестовать меня и отвести в Думу. Я надел мундир и последовал за ним. Под'езд моего дома и вся панель были сплошь заняты толпой, которая встретила меня враждебными криками, но унтер-офицер успокоил их, сказав, что я тяжело болен, и помог мне сесть в ожидавший нас автомобиль. Я должен заметить, что солдаты по старой привычке отдавали мне честь по военному.

В пути нам встретилась толпа народа, которая при виде нас начала кричать и жестикулировать. Когда мы в'ехали во двор Думы, кто-то из толпы сильно ударил меня в спину. В Думе сновала огромная масса народа: рабочие и женщины смешивались с солдатами и юнкерами военных училищ, между которыми я к своему ужасу увидел юнкеров Николаевского кавалерийского училища. После долгого бесцельного блуждания по разным коридорам меня подвели к Керенскому, который радостно улыбнулся, услышав мое имя.

— Ну,—сказал он,—теперь нам не хватает только Протопопова.

В то же время он предложил мне следовать за ним в министерский павильон. Когда мы вышли в зал заседаний, Керенский просил меня не бояться,

потому что мне ничего дурного не сделают. Я ответил ему, что чувство страха мне вообще не знакомо, особенно же я не боюсь революционеров. Он быстро пошел впереди меня по коридору, соединявшему павильон с главным зданием Думы. Так как я с трудом двигался, то я не мог поспеть за ним и он, обернувшись, резко крикнул мне: „скорее". Когда же я ему указал, что у меня болит нога, и я не могу быстро идти, он замедлил шаги. Торжественно он открыл обе половинки двери павильона и громко сказал: „передаю вам генерала Курлова под особенный надзор".

Ко мне подошло несколько человек, как потом оказалось, комиссаров, среди которых был один член Думы из рабочих, знакомый мне еще с прежнего времени по своим истерическим и нелепым речам, и сказал мне, что они должны меня обыскать. Оружия у меня с собой не было, а все деньги и золотые вещи они у меня отняли и составили об этом протокол.

Оглядевшись кругом, я заметил у стены около десятка солдат Преображенского полка. Впереди их стоял известный социал-революционер Знаменский. Я обрадовался, что здесь во главе этой революционной стражи, не было ни одного офицера этого полка. В этом же помещении среди других арестованных находились Б. В. Штюрмер и директор морского кадетского корпуса адмирал Карцев. Я молча поклонился Штюрмеру и тотчас же услышал окрик унтер-офицера: „Не кланяться и не разговаривать"...

Павильон мало-по-малу наполнился: привели градоначальника генерала Балка, его помощников генерала Вендорфа и камергера Лысогорского, министра народного здравия Рейна и, наконец, командующего военным округом генерала Хабалова. С по-

следним произошел следующий случай. На вопрос Знаменского об его личности, генерал Хабалов назвал какую-то незнакомую фамилию и сказал, что он командир одной казачьей бригады и здесь находится в отпуску. Мы, конечно, не возражали, и он тотчас же был освобожден. На следующий день его опять привели в павильон и уже под его настоящей фамилией, причем комиссар сказал, что такого поступка он от командующего округом не ожидал.

В течение дня приводили еще других сановников, а вечером в павильон ввели А. Д. Протопопова, который, как говорят, явился сюда добровольно. Его пригласили в соседнюю комнату, где он имел продолжительный разговор с Керенским.

Нас содержали в общем недурно, давали чай, бутерброды и папиросы, позволяли писать письма родным, которые сейчас же передавались по адресу, что исполнял какой-то студент. Необыкновенно тяжело было запрещение говорить со старыми товарищами по службе, но удивляться этому не приходилось, ибо этот бессмысленный приказ исходил от Керенского. Вечером к нам зашел член Думы Караулов в казачьей форме и сказал, что он назначен комендантом Таврического дворца, а сопровождавший его полковник Энгельгардт осведомился о наших желаниях. Мы пожаловались на вынужденное молчание, которое было для нас очень тяжело, и тотчас же было приказано страже не мешать нашим разговорам. Мы не наслаждались этим удовольствием и десяти минут, как явился Керенский и сделал замечание начальнику стражи, почему не исполняется его приказание о запрещении разговоров. Начальник ответил ему, что запрещение это отменено председателем Думы. Тогда Керенский стал кричать:

— Какое мне дело до председателя Думы— здесь я один распоряжаюсь!

После этого разговоры должны были само собой прекратиться. Ночь провели мы почти без сна, сидя на стульях. На следующий день, часов около 10 вечера, я был водворен в Петропавловскую крепость.

Мой переезд совершился при крайне торжественной обстановке. На всем пути от залы до главного входа в расстоянии нескольких шагов друг от друга были расставлены преображенские солдаты. Знаменский сопровождал меня до автомобиля, в котором находился человек с повязанной головой. Это был Н. А. Маклаков. Против меня сели унтер-офицер с револьвером в руке и член Думы Волков. Как и прежде, разговаривать было запрещено с предупреждением, что унтер-офицер, в случае нарушения этого приказания, будет стрелять. По дороге Волков рассказал Маклакову, что брат его, член Думы, приютил его семью.

В крепости у собора нас ждал отряд матросов. Нам приказали выйти из автомобиля и стать лицом к стенке. Оказалось, что ждали еще других автомобилей с арестованными, и мы стояли в таком положении, пока не прибыли все, кого поджидали. После этого нас повели гуськом в Трубецкой бастион—передо мной шли И. Л. Горемыкин, И. Т. Щегловитов, А. А. Макаров и А. Д. Протопопов. Нас рассадили по камерам.

По моему мнению, камеры Трубецкого бастиона по своим размерам и конструкции являются лучшими помещениями для заключения, какие мне пришлось видеть в России и за границей. Стража осталась здесь прежняя, как и начальник бастиона, гвардии полковник Иванишин, который поспешил снабдить нас собственным бельем, постелями, табаком и кни-

гами и на свой счет кормил обедами из крепостного офицерского собрания. Комендантом крепости был назначен штабс-капитан Кривцов, прежний ад'ютант великого князя Михаила Николаевича. Он снял с погонов шифр великого князя и вел себя в высшей степени враждебно по отношению к близким и родным некоторых заключенных.

13-го марта все заключенные были выведены в коридор, и Керенский торжественно об'явил нам, что царь отрекся от престола и передал управление государством великому князю Михаилу Александровичу, который также отказался от трона, и потому образовано Временное Правительство. Последнее назначило его министром юстиции. Знаменитый вождь революции и дурак выступил и здесь в роли шута, когда, обратившись к Щегловитову и назвав его по имени, отчеству, сказал, что они, революционеры, не подражают старому режиму в содержании арестованных, в чем он, бывший министр юстиции, мог теперь убедиться на собственном опыте. Новейший глава ведомства юстиции не потрудился даже узнать, что Петропавловская крепость никогда не находилась в ведении главного тюремного управления, а управлялась согласно приказам, изданным главнокомандующим гвардией и петербургским военным округом великим князем Владимиром Александровичем.

Спустя несколько дней, по требованию солдат третьего стрелкового полка, нас перевели на солдатский паек и отняли кровати и собственное белье.

Справедливость требует сказать, что я во все время содержания своего в крепости до 2-го августа 1917 года не слышал ни одного грубого слова от конвойной команды, вновь составленной из солдат разных полков—напротив, часто видел от них тро-

гательное внимание. Однажды один из них заметил мое нервное настроение и узнав, что оно об'ясняется недостатком папирос, ушел куда-то и несмотря на поздний час, достал и принес мне папиросы. Сколько трудов потратил „военный министр" Гучков и его единомышленники, чтобы сделать из такого человека коммуниста.

2-го августа я был перевезен вследствие опасной болезни сердца в хирургическое отделение петроградской одиночной тюрьмы. А в начале октября посажен под домашний арест. Здесь меня охраняли те же солдаты, которые теперь состояли уже на службе в милиции. Вскоре, когда утвердились большевики, было решено, что нет оснований держать меня под арестом, после чего была удалена стража из моей квартиры.

25-го октября произошел большевистский переворот, во время которого я в своей квартире не слышал ни одного выстрела и до августа 1918 года я не имел никаких неприятностей и стеснений. Убийство комиссара Володарского вызвало репрессии против офицеров и генералов. Одновременно я узнал, что содержавшиеся в частном лечебном заведении прежние министры Н. А. Маклаков, И. Г. Щегловитов, А. Н. Хвостов, А. Д. Протопопов и С. П. Белецкий перевезены в Москву. Прошло немного времени и мне с помощью добрых друзей удалось бежать за границу.

16-го августа я покинул Россию с тяжелым сердцем, хорошо понимая, что старая Россия никогда уже не воскреснет и что мне и семье моей не суждено уже вернуться когда-либо на родину.